Ольга ЛАНСКАЯ
ЦАРСКИЕ АЛЛЕИ
Санкт-Петербург

Светлой памяти супруга моего незабвенного
Сергея Митрофановича ТАЛАЛАЕВА
и сына нашего Антона Сергеевича

УДК 821
ББК 84 (2Рос=Рус)
Л22

Ланская О.Ю.

Л22 «ЦАРСКИЕ АЛЛЕИ». Рассказы./Ольга ЛАНСКАЯ –
СПБ: 2016. – 208 с.

«...И в полудреме, опускавшейся на сад глубокими но едва различимыми тенями, Лягуш бесшумно пересек тропинку, неся на своей выпуклой спине знаки о судьбах всех времен, начертанные темным изумрудом по шоколадной, как мне показалось, замше...»

ISBN 978-5-00105-171-8

УДК 821
ББК 84 (2Рос=Рус)
Л22

©Ольга Юрьевна Талалаева-Ланская
©Сергей Митрофанович Талалаев
©Оформление – С.М. Талалаев

*

«…И кто-то читал стихи про янычар
с кривыми ятаганами,
рвущихся к русской станице,
и девушке, которая, обжигаясь,
лила им на голову горящую смолу,
потому что, кроме нее,
никого уже не осталось…
И вспомнилось мне
привидевшееся
в полуночи
у Приоратского Замка
далеко внизу, за черным озером
мерцающее огнями странное, явно
татарское, монгольское, становище…
Вот, привиделось же!
Задолго до того,
как дикие янычары
расстреляли
в воздухе Сирии
русского летчика.
А в это время
над подмороженным ночным холодком Санкт-Петербургом
свободно, сквозь времена
и непостижимые расстояния
лился волшебный голос
Елены Образцовой:
«У любви, как у пташки крылья…»

(«Петербуржское утро»)

ГОДОВЩИНА ВЧЕРАШНЕГО ЛЕТА

Балетные туфельки кружатся на пуантах.

Кто? - не знаю, кто — делает первый выстрел, и бесшумным обрывом осыпается сценическая площадка слева.

Но туфельки кружатся, и я вижу новый (из чего? Не знаю!) выстрел, а за ним — снова обрыв, словно под ногами прекрасной танцовщицы, невидимой, скрытой от мира мраком всех слепых от зла и ненависти глаз, не сцена, а земля, которую им, слепым, не жалко расстреливать.

И Земля - эта Россия.

— Пусть твоя «рашка» тебя хоронит! — верещит какой-то прыщ, картинно, с оглядкой на кинокамеру, засовывая в присыпанную желтым смертным песком мальчишечью руку листик белой, как снег бумаги, на которой что-то нацарапано внахлест.

Уже целая траншея присыпанных песком людей тянется к горизонту, и бульдозер в ее начале — перед новым проходом вгрызся ножом в груду песка.

Прыщ торопится, понимает, что этот проезд бульдозера сравняет траншею со степью, и навсегда исчезнут с лика земли, сваленные в нее внахлест белокурые, русые люди.

Прыщ тоже не китаец и не негр. Не араб. Не пакистанец. Не австралиец. Он той же крови, что и те, которых он с приятелем засыпает в траншею. И говорит он на чистейшем русском языке.

— Пусть твоя «рашка» тебя хоронит! — бросает прыщ присыпанному песком русскому мальчику, всем, кого эти подонки укатывают бульдозером в русскую же землю.

Я смотрю и ничего не могу изменить. Ничего. Вот уже год стоит перед глазами эта картина.

Донецк? Луганск? Русские степи...

Год я смотрю на это, и ничего не могу изменить. Ничего.

Почему не смогла мне ответить Шарлотт на простой вопрос, когда, года три назад, смотрели мы вместе с ней французскую передачу о погоде?

На карте был весь мир. Даже крохотные пипеточные государства были на той карте погоды мира. Только России на ней не было.

Только России!

Белыми мертвыми снегами была обозначена золотая святая танцовщица. Белым сплошным сугробом!

— Почему, Шарлот? Где Россия?

— Нет России, — тихо отвечает Шарлотт. — Нигде нет России. Ни в какой стране ее не показывают.

— Как?! Мир без России?! Это же нонсенс!

Она пожимает плечами:

— Я поэтому и приезжаю каждый год, чтобы убедиться, что вы есть. Фотографирую. Ты знаешь, на мои выставки приходят люди. Смотрят на Россию. Им интересно.

Одну я назвала русскими буквами: «ПУХ». Все в Петербурге и Москве было в тополином пухе! Это было так красиво.

А в Париже все читали это название по-французски. И получалось: «Никс»!

Ты представляешь?! Но все меня поздравляли с такой находкой.

Она замолкает, улыбается не то смущенно, не то виновато...

Шарлотт! Почему год назад ты не приехала в русские степи у Луганска и Донецка, а Шарлотт? Да, ты не говоришь по-русски. Но ты снимаешь жизнь на камеру, как она есть.

Тебя знает мир. И тебе верят. Но ты не приехала!

...Кружатся на пуантах балетные туфельки.

На крохотном пятачке чуть освещенной земли – Россия. И выбивают из-под ее ног ее родные земли все, кому не лень.

Санкт-Петербург

ПОДМЕНА

Три. Может быть, их было больше? Нет, вещали трое. Не вещали - лгали. Однообразно и скучно. Оттого впечаталось: сегодня у меня самый несчастный день в жизни. Я вынужденно общаюсь с тремя лгуньями.

Бог Троицу любит. Так говорят. Их было тоже три! Есть в этом особый смысл, наверное... Не знаю. Если да, то смысл зловещий – подмена.

Одна плескалась Рыбой морской и пела мне дивные песни про чудищ подводных и свою кривую истину, без которой нет счастья.

А вокруг дымилась пустыня, и, как на съемках Людмилы Лебедевой из Яффы, уже видна была буря, идущая с запада к Средиземному морю на Город.

И потому море – от лап белой собаки, тревожно нюхавшей воздух у кромки воды, от светлых Людиных туфелек до самого горизонта – становилось пепельно-черным.

Огромное, в полгоризонта, кровавое солнце дымилось рваными, на неслышном еще нам ветру, черными тучами, и за ним шла на Яффу библейская тьма.

А Рыба все пела и пела, и тьма поглощала нестойкое, слабеющее среднеземноморское светило, и хотелось пить...

— Нет-нет! — Щебетала Рыба. — Ее нигде нет, воды, ее нигде не бывает! Вы все это придумываете!

И, теряя сознание от удушья и отвращения к такой явной лжи, на последнем вздохе я услышала:

— И вообще я вам не Рыба. И даже не золоченая! Я технический работник!

Час назад мне об этом сказала другая Рыба из того же Аквариума. А между ними сидела третья, такая же яркая и влажная, как песок Сахары.

Иногда и она шелестела нежным голосом Медузы.

— Господи, — сказала мне Люся. — Как же ты соскучилась по морю! Бросай все и прилетай к нам...

Мы говорили с ней по скайпу, и я смотрела, как за ее спиной, уходя в Средиземное море, плавится всеземное вечернее светило... А я-то, говорю, думала:

Будут шпаги, замки, яд,
Шквальный ветер, звездопад,
Снегопад и листопад,
И — кусочек кожи,
На шагрень похожий...

— Так это ты про жизнь, Ляля. А они совсем про другое...

Санкт-Петербург – Москва – Тель-Авив

УРАГАН

И гудела река.
И вздымались все воды.
И шли на Город.

Похоронили.
До грохота и разгула стихий.
У раскрытой могилы гробовщики потребовали денег. Еще и еще, и еще.
Народ растерялся, полез в карманы.
Собрали. Вшестеро больше, чем платила Лена официально, по квитанции.
Поворчав, гробовщики угомонились, занялись делом...

Опустили Матушку Серафиму в вечный покой. И землей присыпали.

И молча помолились, шепча неподвижными губами почти одно: Царствие Небесное, вечный покой, да земля — пухом...

Едва добрались до дома, началось!

И всю ночь невидимые ледяные нити хлестали по крышам, что-то хлюпало, чавкало, хрустело.

И невидимый гулкий ветер властвовал над Санкт-Петербургом, свирепствовал над каналами и реками, словно неведомое доисторическое животное, ломая все на своем пути, гонялось по улицам за ускользающей хрупкой бабочкой.

Казалось, сам воздух взбунтовался, взбаламутился, подневольно подчинился дикой охоте мастодонта.

По радио еще днем предупредили:

— В Санкт-Петербурге ожидается ураган. Возможно наводнение. Дамба закрыта.

Сколько — громогласно, нагло и тупо — демократы-либералы, будоражили народ в 90-х:

— Мы против! Не нужна дамба! Прекратить стройку-ууу!

Народец подвывал:

— Прекратиииить! Долой защитные сооружения – наследие коммунистов!

Митинговали, лезли из каждого утюга:

— Долой!

Из Москвы дорогие гости нахлестывалась, местным помогали.

Слава Богу, не послушали их, достроили. Все защитные сооружения достроили. Вот и мечется, бьется, теряя силы, мастодонт по плохо спящему Городу, ищет жертву.

Первое сиротское наше утро крадется по Санкт-Петербургу в темноте и всхлипах.

Первое без Матушки-Серафиминой молитвы...

Санкт-Петербург

РЕЮНИОН И СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ

Сегодня уже 14 февраля, 3 утра, ставшее привычным временем пробуждения.

Наверное, потому, что за часы недолгого сна все отсеялось, уложилось, созрело...

Реюнион позади (зачем это Кудрин так шаркает ножкой?) и, если бы я все-таки слушалась знаков, которые подаются людям, я никогда не коснулась бы этой авантюры.

Не поднялась бы в неприличные для меня 6 утра, не уселась бы в поданную строго ко вре-

мени машину, да еще в спешке, лишив себя так нужной чашечки крепкого кофе.

Это в субботний-то день после того, как накануне мне был дан недвусмысленный знак: невыносимая боль словно разрезала мой правый глаз раскаленной нитью где-то в глубине под веком.

Боль была долгой и непроходящей, я пыталась смыть ее холодной водой, а потом, поняв, что не могу больше смотреть ни на что яркое, выключила свет, отключила монитор, сообразив, что долго еще не смогу видеть его сияющую морду.

Сияющую?

Последний раз я вижу это наглое развеселье, сказала я себе, и включила комп.

И тут поняла.

Яркость зашкаливала на 100. Чуть ниже – контрастность.

Я сожгла глаза.

Работать придется как-то по-другому. Как в те времена, когда между делом или между наковальней безденежья и молчаливо осуждающих глаз, создавали шедевры.

Свеча. Вот, от чего не заболят глаза.

Свеча и перо. И никаких опечаток, потому, что нет расстояния между мыслью и ее воплощением. В виде бракованной клавы.

Я выключила комп и легла спать. Ночью проснулась от боли в глазах и вспомнила, что зачем-то же засаживает Нюра все наши подоконники отвратительным косматым алоэ.

– А это для глазок, – любила приговаривать она. – Для глазок!

– А понадобится? – спросила я ее как-то.

– Понадобится, – спокойно предрекала Нюра. – Еще как понадобятся!

Понадобилось.

Но все это чушь. Не о том хотелось рассказать.

Выехали за город около 8 утра и окунулись в чудо.

Высокие ухоженные леса, прореженные от буреломов и сухостоя.

Кто-то всерьез работал здесь.

Даже пожухлая прошлогодняя трава была ровной и немятой, а сквозь нее уже сияла, зеленела щедро и густо рассыпанными изумрудами новая трава-подросток.

Ухоженный лес с зеленой газонной травой чистейшей и сочной – прямой укор нашим муниципалам, которые уже третий год прикрывают свой стыд грязными деревянными настилами вдоль Фонтанки, под которыми прячут древние бесценные гранитные плиты, переко-

реженные из-за пустот под ними – у нас все клады ищут, а чего не искать, коль находятся?

Зря бы и не искали.

Почему я всегда прохожу мимо кладов?

Мама говорила: золото – зло.

Поэтому?

Кто знает истоки своих заблуждений и озарений? Мало, кто.

Ждали Кудрина. Пришел. Встал к микрофону. Говорил ни о чем.

Временами шаркал ножкой.

Иногда же, растопырив пальчики левой руки, начинал вдруг крутить ими сначала внизу, у бедра, заворачивал руку назад, словно прятал от нас что-то бесценное, потом возвращал руку на место.

А пальчики все вращались, как у соврашей и смущенной этим самым фактом пятилетней девчушки.

После чего Кудрин выпячивал животик, успокаивался и продолжал словоизлияние, скучное и ненужное никому.

Кто и что не знал о Кудрине, бывшем министре-капиталисте из чикагской банды?

Нет, это была девочка лет пяти. Вороватая и глупая.

Зачем же я так?

Так увиделось.

Говорил также умно. Про планы на 20-30 лет вперед.

Я спросила:

– А жить-то сколько собрался?

Он смущенно шаркнул ножкой и сказал, сияя неведением:

– Лет 150-200.

И ясно улыбнулся.

По шикарному кампусу прокатился сдержанный понимающий смешок.

Огляделась.

Людей вокруг почти не было.

Амфитеатр под куполом, сияющим искусственными звездами, был битком набит устремленными в свое прожитое уже «я» функциями.

Реюнион...

...Перед самым пробужденьем я делаю все то, что почему-то не сделала вчера: делю файл надвое, не дающий мне покоя и наконец – о радость! – файл улавливается, и на меня смотрят живые, в косматых ресницах глаза, смотрят без упрека, спокойно и, так, словно, знали, что мне удастся выковырнуть их из файла, в который их кто-то так безбожно надолго спрятал.

— Я не сомневался, что ты меня найдешь, сказал Малыш. — Но почему ты не предупредила их о стволовых клетках?

— Их Бог предупреждал, — отвечаю машинально.

Я не удивляюсь, что он способен говорить. Неважно как.

Я делаю что-то с другим файлом, присоединяю его к кусочкам первых двух, и – возникает прекрасный, невыразимо прекрасный мир…

Стволовые клетки! – думаю я. – Их Бог предупреждал – не спасло…

Почему они морочат миру головы с грифеном-грифелем?! – возмущаюсь мысленно и глупо-бесполезно. Все мальчишки Советского Союза знали это свойство, а эти Нобелевскую за всех схватили…

Малыш именно этому обучал меня, когда дохла очередная плата: возьми простой – именно простой, как этот, карандаш и рисуй им прямо по слабеньким следам на плате…

Только карандаш бери со свинцовым грифелем.

Тогда они валялись повсюду. Их так и называли – «простыми».

Господи, зачем этот Кудрин шаркает ножкой?

Зачем он повторяет ручкой жест смущенной девочки лет пяти?

Словно берет двумя пальчиками кружевной подол платьишка, а никак не решится покружиться, или нет?

Зачем он признается, что не понимает, что такое экономика? Да еще в этой самой, как ее там? В России?

Смотрю, слушаю...

Реюнион стволовых клеток, превращающих на наших глазах обычных когда-то людей в ядовитые растения.

Никто не устоит. Просто не всем достанется страшного нечеловеческого средства Макропулоса, синтезированного из нерожденных детей.

И то, слава Богу...

Санкт-Петербург

КРЕСТЫ КОЛДОВСКИЕ

Егорша парень у нас спокойный, вдумчивый. Несуетливый, но и не тормоз. Нормальный, одним словом. Серьезный.

Пришел вчера из школы, ничего не сказал особенного. Да и не из болтливых он. А сегодня днем, убегая в Аничков на тренировку,

вдруг остановился уже перед дверью и говорит бабушке:

– Прости, совсем забыл. Я вчера кресты на дороге нашел.

И протягивает ей что-то в кулачке.

– Вот, – говорит. – В карман куртки сунул их и забыл.

Бабушка Пелагея приняла находку-то внука, держит на раскрытой ладони и спрашивает:

– А где нашел ты их, Егорша?

– Да бежал, вдруг блеснуло что-то на асфальте. Я сначала не обратил внимания. Обернулся, а оно блестит. Вернулся, смотрю – кресты. Да странные такие. Вот я и поднял – тебе показать.

– Никогда, – говорит наша Пелагея Сергеевна. – Никогда, Егорша, чужой крест не бери. Никогда, слышишь?

– Хорошо, – говорит Егорша. – Ну, мне пора, а ты посмотри, что за кресты-то такие.

И убежал. А Пелагея наша говорит мне:

– Неси-ка прозрачный стакан да святую воду!

А сама ладонь раскрытой держит, пальцы словно как заморозило у нее.

Взглянула я, и словно холодом обдало.

Лежит у нее на ладони-то змея витая-перевитая, серебром отливает, а из нее крестики торчат. Большие и малые.

И перепутано все так, как будто кто специально скрутил да перекрутил. Ни конца, ни края. Клубок. И кресты поблескивают.

Пелагея Сергеевна наша правой рукой перекрестилась, бумажку взяла и Егоршину находку на нее положила.

– Смотри, не прикасайся, – говорит. – Чужой крест – чужая судьба. Нам своих хватает. Засвети-ка лучше лампадку у Тошеньки.

Это она погибшего нашего Антошу так величает. И лампадка-то в доме с тех пор, как убили его.

Взяла я масло, поправила фитилек, засветила. Смотрю, а Пелагея Сергеевна-то клубок этот с крестиками аккуратно так распутывает, тихонечко, по кругу, а сама молитву все приговаривает. То ˝Отче…˝, то ˝Святый Бессмертный…

Тихонечко так, и тоже как бы по кругу, не останавливаясь.

И клубок этот странно так повел-то себя: путался, путался и вдруг распутываться начал.

И вижу я, что крестики все разные, с надписями – то короткими, то такими маленькими и длинными, что не прочитать.

Поднапряглась я было и смотрю, вроде молитва там, только начинается со слова: ˝Ад…˝

А Пелагея Сергеевна как цыкнет:

– Нечего читать тут, не книги это!

А сама все распутывает да распутывает. И все молитвы читает, как песни мурлычит.

Удивило меня, что на крестике, что побольше, Иисус как бы на двух ногах на кресте. Вроде как не по-русски это. У нас по-другому принято, вроде.

А один крестик даже как бы с ангелом – крылья у него и тоненькая пика в руках…

Словно помогал кто Пелагее Сергевне нашей – распутался клубок-то.

И тут меня совсем сразило: среди всех крестов два-то такие маленькие, как для деток…

А Пелагея Сергеевна шпилечкой цепку с крестами поддела и в стакан со святой водой трижды опустила. И все под молитву.

И что странно, всякий раз, как опускала она эту связку с крестами в святую воду, словно бы закипала вода.

Мелкими пузырьками всю цепочку и каждый крестик обволакивало почему-то. Как ошпаривало!

На четвертый раз опустила она клубок этот распутанный в стакан со святой водой на самое дно и говорит мне:

– Не трогать! Я сейчас.

И быстро так пошла. В ванную, к крану с холодной водой. Я за ней. Интересно мне.

А она говорит:

– Открой холодную!

И руки под студеную воду подставила, не спеша так поворачивает ладони-то, словно жжет их жаром невидимым, а ей остудить надо…

Потом говорит мне:

– Не ходи со мной. Я сейчас.

Плащик накинула и ушла. А Егоршину находку в бумажку завернула и с собой прихватила. Вскоре возвращается. Ну, вот, говорит, у кого-то беды убыло, а кому-то добро прибыло.

– А кому добро-то? – спрашиваю.

Смеется:

– Да всем. Больше в Фонтанке никто тонуть не будет.

И опять смеется:

– Забудь. Дел мало, что ли?

– Да много дел-то.

– А я о чем?!

СВЯТАЯ ВОДА

И почернели дни, и ночи стали длинными и тяжелыми – без снегов и дождей. Видимо, если и осыпает небо что-то на землю в эти дни, то я не слышу.

Однажды, ближе к утру, разбудил крик – страшный, отчаянный. Женщина кричала. Или девчонка.

Бросаюсь к окну, распахиваю форточку и таким же диким голосом – по черным окнам, двойным нашим аркам, по плитам двора – выбрасываю в мертвое небо звенящее:

– Ты чего это там затеял, а? Щщас милицию вызову! Ты слышишь, милиция тебе нужна?!

Забыла про полицию. И телефонов ее не знаю…

Женщина затихла, громыхнул под аркой чей-то тяжелый гулкий бас, хотя проговорить ему хотелось, наверное, шепотом: «Милиция».

И все затихло.

Через пару секунд вспыхнул неяркий свет под аркой, едва слышно прикрылась внизу дверь – наверное, домофон у того, кто скрылся в подъезде, наготове был, в руке. А может, кто выйти хотел на крик.

Не бывало у нас раньше такого.

Может, дворник Мухаммед под утро баловать начал?

Он человек странный. Похож на деревенского дурачка – дебелый, лицо круглое, плоское, без выражения. Как раз в это время меняет мусорные контейнеры.

Нет, пожалуй, попозже. На час-два…

Откуда он? Не знаю.

Приехал вместо тети Халимы, которая знала всех и все.

И ее знали, и детки ее на наших глазах выросли.

Камиле было 13, когда они приехали в Петербург, а теперь у самой уже двое. И старшенькой уже 4 года.

Нездорова старшенькая. Что-то при родах, наверное, повредили. Недаром Халима просила меня с Гузель поговорить, чтобы та согласилась взять Камилу на роды к себе в клинику.

Я позвонила. Мы с Гузель соседями по 55-дому были, пока евреи заморские у нас этот дом под гостиницу не оттяпали. Отторговали, потому, что в доме все были уже собственниками квартир: кто приватизировал, кто купил. Как отторговали? Да силой.

Мы, как Брестская крепость в 41-м, стояли.

Даже немец с семьей был в нашей дружной когорте. И китаец. Тот по-русски вообще не говорил, но меня понял как-то, и к коллективу примкнул. Я уже рассказывала об этой истории как-то…

Но и тогда у нас была уже добрая наша тетя Халима со своими двумя детками. Чужие дети быстро растут…

Ну вот, позвонила я Гузель, а она мне:

– Узбеки?

– Да, говорю. Да ты знаешь – дочка нашей тети Халимы родить должна, да вот мать боится за нее.

– Брось, – говорит мне Гузель. – Они, как кошки рожают. Приноровились ко мне со всего города бегать.

И голос недобрый такой.

От Гузель я такого не ожидала. И вспомнила, что Халима сказала: ты ей скажи, мы заплатим, только бы взяла.

Не взяла.

И вот, стоит передо мной очаровательное создание 4-х лет, и вижу я, что с ней не все в порядке. Смотрит как-то снизу, кривовато, словно шейку ее кто к земле тянет.

Побежала я на кухню, к холодильнику, взяла святой воды, да к ней. Лью ей прямо на голову, а сама одними губами молюсь...

Не сообразила, что испугать можно так. Да и не русская она.

Ничего я не сообразила.

А малышка как засмеется, мордашку подняла вверх, и что-то бормочет по-своему и руки ко мне тянет.

У Халимы слезы на глазах. Говорит:

– Понравилось ей. Говорит внучка-то: «Какой хороший дождик, бабушка!»

– Это святая вода, – говорю ей виновато.

Забыла я, что не русские они.

А Халима улыбается:

– Поняла я, – говорит. – Поняла я, доченька.

Малышка руки ко мне тянет, говорит что-то. А я не понимаю узбекский-то. Халима говорит:

– Еще дождичка Вашего просит, что бы на ручки.

А мне что, жалко?

Брызнула я святой водой в детские ладошки. А она смеется, к лицу прижала и говорит, говорит что-то. Радостно так.

– Хороший у тети дождик, – переводит Халима.

– Халима, – говорю я. – Хороший ребенок. К врачу бы надо ее. Хорошему.

И протягиваю малышке книжечку яркую, на обложке - дудочник, а на конце дудочки кто-то Черный в плаще, едва заметный.

А малышка к глазам книжку-то яркую поднесла, рассматривает, чуть не носом по ней водит, потом пальчиком провела от Черного к Веселому Дудочнику и протягивает книгу мне, возвращает.

– Возьми себе на память, – говорю я. – Возьми.

Она прижала к себе мой фолиант двумя ручками, смотрит на меня огромными красивыми, почти ничего не видящими глазами и снова говорит, говорит что-то... Ожила.

Халима смеется, переводит:

– Внучка спрашивает: можно я еще к тебе приду?

– Конечно, приходите, – говорю я.

– Спасибо, – говорит Халима. – Мы ведь попрощаться зашли. Уезжаем мы. Домой, в Узбекистан.

– Насовсем? – спрашиваю.

–Насовсем,– говорит Халима. – Лечить внучку надо. Правильно вы сказали. А вы приезжайте к нам. Какие у нас фрукты! Приезжайте! А какое солнце у нас! Вы, вон, какая бледненькая… Денег на дорогу накопите, а там не надо будет денег. У нас будете жить. Солнце, фрукты! У нас лучшие фрукты в мире. Приезжайте!

– Спасибо, – говорю. – Не смогу я…

И так горько мне, что и не передать.

…Посветлело за окном. Сегодня обещают минус два.

Нет, не Мухаммед это был. Вон, он только сейчас появился, грохочет контейнерами, закатывает их с Фонтанки во двор.

Новый день наступил. И опять все будут говорить про Сирию и беду нашу, о которой уже даже думать невозможно. Забалтывают, забалтывают. Оставьте нас, болтуны, наедине со своей бедой, не лезьте в душу сапогами, или тем, во что вы там, по свои обычаям, обуты.

Плохо.

Плохо, когда уезжают те, к кому привык. Навсегда уезжают…

ПЕТЕРБУРЖСКИЕ НАВАЖДЕНИЯ

Странную женщину встретила я вчера на закате.

Спрашивает:

— Скажи, как мне вашего питерского Чижика увидеть?

— Вам вернуться надо, говорю. Вы уже прошли его.

— Да-да, конечно, — говорит. — Понимаю. А не подаришь ли ты мне свое колечко?

— А зачем Вам чужое колечко? — спрашиваю. — Кольцо с чужого пальца — чужая судьба. Зачем Вам моя судьба?

— А затем, — говорит она мне. — Затем, девонька, что предстану я там, у Господа Бога ни в чем и ни с чем. Вот твое колечко и покажу Ему.

Гляди, мол, я на себя все чужие беды взяла, все грехи.

Может и помилует Он меня за твое колечко-то? Как ты думаешь?

— Не знаю, — отвечаю я. — Как знать, чье кольцо по грехам перевесит-то? Ваше, или мое?

— А где ты мое-то кольцо видела?

— Так вон у вас сбоку от обручального червонным золотом на пальце что горит? А моему

10 рублей цена, на Апрашке куплено. Да так давно, что уже ни цен таких, ни продавцов нет.

— Это я и без тебя вижу, — говорит.

И смеется…

Не верит, что ли. А мне обидно.

При мне малыш мой на свою десяточку это колечко мне купил. Красивое, узора небывалого, словно корона из брюликов горит на закате.

Дешевенькое, а мне дорого.

— Не отдашь кольца-то? — снова спрашивает женщина. И ухмыляется.

— Нет, — говорю. — Не отдам.

И пошла себе дальше.

А тут мужчина навстречу:

— Не скажете, где «Военторг» найти?

— В Советском Союзе, наверное, — говорю.

Ничего про нынешние военторги-то я не знаю. Один Сердюков в голове. И его полюбовница. Какие уж тут «Военторги»?

— А, говорят, на Суворовском есть, — произносит дядечка, странной хитрецой заливая вокруг меня пространство.

— Если так, то почему Вы в противоположную сторону идете? — спрашиваю. — Вам вернуться надо. Суворовский-то там, за Аничковым мостом по Невскому проспекту и — налево.

Произношу и, резко отвернувшись, вырываюсь из его недокрученного вокруг меня хитросплетения, из железной ржавой его паутины.

И слышу, как зло смеется он вслед мне:

— А я прямо пойду!

Да и ладно, думаю, идите, куда хочется. Погода теплая, вечер светлый. И тихий. Наши с Фонтанки, похоже, еще вчера отстрелялись.

А тут вдруг еще один добрый человек нарисовался. И странное предложил:

— Тебе еще одну Солнечную поляночку выслать, может, прибавить вдохновенья?

Не к месту так, с пьяну ли, со злости ли бросил. Да тоном таким, словно уничтожить меня хотел и с солнцем моим, и с полянами... Вдохновение? Это-то он к чему?

Вот уж чего никогда ни с кем не обсуждаю, от себя не отделяю, просто живу в нем. В Духе. Кто может добавить или убавить его мне, хихикая подло, исподтишка? Нечисть только.

Янычары...

Русскими полянами расшвырялся. Чьими-то вдохновениями, ни сил на то не имея, ни права...

А, может потому, что накануне завершила я новую книгу, и называется она «Солнечные поляны», и объявила об этом друзьям, как о радости, что труд нелегкий закончен.

Попрощалась со всеми и собралась было отдохнуть. И все пожелали мне доброй ночи. А этот странный… разозлился, что ли?!

Позавидовал ли с чего? До злобы черной, с ухмылочкой едкой… Пока думала-гадала, исчез мой третий-то странный. Был. И исчез. Как ветром сдуло…

Вот только что перед глазами стоял и растаял.

И вспомнила я встречу на закате с той странной женщиной, которой так хотелось моего колечка.

И открылось мне, то, что должна бы давно сама знать. Открылось, как только исчез этот, злой. Словно его только и не доставало.

И догадалась я, почему вдруг скрутило их ко мне, свело. Отчего это они один за другим ко мне прилипать стали…

Так вот оно что, подумала я, может, творчество — это как молитва?

Пишешь ли, рукавички ли вяжешь, цветы растишь, картины создаешь, детям сказочку на ночь напеваешь, все — молитва, все ей сродни?

И потому-то черти и разбегаются от нас, а? Как ты думаешь?

Санкт-Петербург

БОЛЬШОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ

Кто-то сказал однажды: не бывает такого-то. Промолчала я.

Потому, что своими глазами видела над широким конюшенно-автомашинным въездом в бывший храм, где после революции устроили склад чего-то, чего именно, я не знаю, эту надпись, – старую, полустертую, но читаемую острыми детскими глазами.

Потому, что непонятно было, про что она.

А мы загадки любили.

Вся Москва тех времен была загадкой, о чем мы ничего не знали, но присутствие чего чувствовали.

Вот, бывает так в жизни, что дети да животные, птички там всякие, да насекомые много знают, дано им это до определенного возраста.

Не всем, конечно.

Людям только до того, как болтливыми становятся, ну, а тем, божьим-то тварям, так навсегда. Хотя и они проговариваются. Но не каждому...

Мы с сестренкой тогда всю Москву босиком избегали – все нам было интересно, даже такие загадочные древние сооружения, где помимо фанерной дощечки со словом «склад», высоко,

под куполом прочитывалась и такая странная надпись: «Большое Вознесение».

Так и запомнилось: широченный помост, всегда в грязных следах то от телег, то от машин, ведущий вовнутрь приземистой, как куличек с шишечкой, бывшей церкви и много-много солнца.

Жили мы все – и тетки, и их мужья, кто с фронта вернулся, и их дети неподалеку друг от друга – Сретенка, Третья Мещанская, Комсомольская, что налево перед площадью Дзержинского – много народу той коренной Ивановской фамилии было на Москве.

Да и опричь нее немало Ива**н**овых семей проживало. И в Вострякове, и в Берендеево, и в Переяславль-Залесском, и в Александрове – Ивановской слободе любимой, в монастыре которого, говорили, любил отдыхать Иван Васильевич да от врагов скрываться, Иван-то наш, батюшка, праправнук Ивана Калиты, собирателя русских земель…

Вот, говорят, «время»! А нам тогдашним московским босоногим ребятишкам оно тоньше паутинки казалось.

Мама моя была пришлая в этой семье – вдовой уже вышла замуж за младшего из восьми братьев – Ивана.

Как и я, ее дочь – своя-несвоя.

Но я этого не знала и знать, главное, не хотела. А потому были мы все на равных. Чужих в семье не обижали.

Наверное, обычай такой еще был тогда…

Любила я Москву, как ни один город мира. Не было ей равных, думала я.

Много с тех пор воды утекло, но всякий раз, приезжая из Санкт-Петербурга в Москву 90-х, а поездки все были по делу: необходим нам был, как правило, визит в Мин.печати, – но перед ним и после — мы обязательно забегали в Храм Большого Вознесения.

Сначала по «коровьему съезду» – так его называли почему-то, поднимались к широким, чуть приоткрытым воротам – за которыми – полумрак и тайна…

Входили, не задерживаясь, прямо, готовые ко всему.

Но от прежнего ничего уже не было в храме…

Покупали в полумраке свечи и шли по доскам, уложенным, как деревенские мостки, прямо по земляному полу, к иконостасу. Его только создавали, и каждая икона, сияя неземным светом, стояла плечом к плечу в шеренге таких же небесных воинов.

А поначалу и мостков не было, и иконостаса. Был земляной пол. И полумрак.

Но мы все равно заходили.

Потому, что, ободранный, обворованный до нитки, не считая паникадила, которое чудом, как рассказывали, сохранилось в тайном уголке чердака храма, превращенного в склад, с широким въездом для лошадей с телегами и прочим, — но храм! — уже освобожденный и освещенный, он всегда оставался Храмом, где они были обвенчаны: А.С. Пушкин и лучшая из сестер Гончаровых — Наталья.

И дух этого события никогда не покидал Храм у Никитских Ворот.

Никогда.

Как объяснить это? Не знаю...

Но в те редкие дни, когда бываем мы в Петербуржском Храме на Большой Конюшенной, где его отпевали, каким бы несуразным, неуютным казался нам храм, мы все это мгновенно забывали, войдя в него.

В нем властвовал тот же дух. Дух Пушкина...

«Нет, весь я не умру...» И в такие минуты эти строки звенели не пророчески, а буквально.

Москва – Санкт-Петербург

ПОЛОЖИ КАМЕШКОМ, ДА ПОДЫМИ ПЕРЫШКОМ…

К утру затихло, погода присмирела — домашний котенок вобрал в мягкие лапы острые бритвы коготков и заснул, никому не мешая.

Поутихли обиды и горечь вчерашнего дня, и капельку сил добавило: «Отче наш…»

Не знаю. Ничего не знаю про день, спящий еще за горизонтом. Ничего не жду. Быть может потому, что слегка ушедшая в подсознание боль всех последних дней, понемногу отпускает.

Понемногу.

Не настолько, чтобы можно было продолжить очередной сюжет. А значит, жизнь потеряла свой вкус и цвет. И краски померкли.

Декабрь.

Черно. Почти зима. Через несколько дней и луна исчезнет. И наступит полное ее отсутствие. Но какое нам до этого дело?

И все-таки, как говорят, положи, Господь, камешком, да подыми перышком.

*

СВЯТОЙ АФОН И ГАТЧИНА

Для Тани СУРГАНОВОЙ

(О Павле Петровиче от Ольги Ланской из Санкт-Петербурга.)

Посылаю я Вам, Танечка, как и обещала и Вам, и Юрию Георгиевичу Милославскому, рассказики о Павле Петровиче. Но вот, в чем дело. Рассказаны эти былиночки разными людьми. И по-разному. Кто смешком побалует, кто удивлением. Понятно ли будет?..

А началось все со дня Анны Зимней.

Рассказала мне о нем одна хранительница Михайловского Замка, который Павел Петрович на слиянии трех наших рек – Невы, Мойки да Фонтанки поставил, велел окрасить в цвет перчатки красивой женщины, поговаривают, что Лопухиной – она и вправду хороша была! И собирался долго и счастливо жить. Да не случилось…

Ольга Ланская, *Санкт-Петербург*

1. АННА ЗИМНЯЯ

Клубочком тихим ввалились, покрутили головами, оглядываясь... И тут меня словно током кольнуло.

Смотрю, отделились от клубка двое и пошли себе, словно знали куда идти, словно позвал их кто.

За годы работы в Замке Павла Петровича, привыкла я необычное сразу примечать.

Редко такие у нас бывают.

Потому, наверное, я их сразу и вижу.

Входят так, словно всю жизнь в нашем Замке провели, словно выпали они к нам из того столетия, когда жив был Павел Петрович и убийцы его — родные да близкие — план свой только задумывали.

Все в этих двух фигурах было нездешнее какое-то.

Мужчина высокий, прямой, выправка офицерская. Красивый мужчина. А рядом женщина, словно тростиночка — гибкая, стройная, платье строгое, в пол.

Над паркетом плывет, как кружит, не идет, а словно танцует, будто играет ей неслышимая никому другому музыка.

Я за ними.

Вот спросите, почему да зачем, не отвечу. И объяснить не сумею.

Смотрю, пошли они, в обход всего потока туристов глазеющих, прямо к Тронному Залу.

Мужчина вошел, пару шагов сделал, остановился. Смотрит туда, где трон Павла Петро-

вича должен быть. Неотрывно смотрит. На лице ничего не отражается, а взгляд…

А женщина-то, Тростиночка-то моя, проскользила в сторону царских покоев, да резко вдруг так остановилась, обернулась, обвела глазами Тронный Зал и спрашивает у меня:

— Куда всё подевали?

Смутилась я. Мне бы сделать вид, что не понимаю, о чем она, а чувствую, что под таким взглядом не отвертишься.

— Да по разным музеям растащили, — говорю, — да по квартирам…

Взглянула так, словно обожгла:

— А чего, — спрашивает, — небрежно так? Спешили что ли, гнал вас кто? Вон сколько пораскидали. Поаккуратнее — никак?

Молчу я, виноватой себя чувствую, хоть не моя вина в том, что дом Павла Первого после убийства-то его, переворотов да революций так опустел. Не моя.

И не понять мне, о чем она говорит «пораскидали»?

Что такое видит в пустом Тронном Зале, где не пылинки, одна красота. Пустая, это правда.

А они пошли себе прямо в его покои. Я на пороге замерла, мешать не хотела, а уйти не могла. Вот, ведь как бывает.

Покои Павла Петровича — сразу за Тронным Залом — невелики до изумления.

Шагов с десяток вдоль и поперек, и то не много ли будет?

Оттого потолок кажется высоко, в поднебесье, и по нему восьмигранной Вифлеемской звездой строго, прямыми, без всяких излишеств и завитушек, каменной кладкой узор выложен.

Но чтобы разглядеть его, надо поднять голову — высоки стены Царского Замка, окруженного водами Фонтанки, Мойки и мощного рва, недавно восстановленного в том виде, в каком был он при убиенном русском Государе.

Смотрю, Тростиночка долгим таким взглядом в пустой угол, где стол его когда-то стоял с креслом, да кровать, посмотрела, скользнула по закамуфлированному входу на Гагаринскую лестницу, скрытую от всех глаз, вздохнула, подошла к окну, маркизу отодвинула привычным жестом, оперлась локотками на подоконник, голову руками подперла и замерла так, словно задумалась…

А скажу я вам, что стены у замка толстенные, и окна в них так мудро прорезаны, что снаружи никого в окне не увидишь ни слева, ни справа. Надо прямо напротив встать, чтобы увидеть, есть ли кто там, внутри, в Замке.

Да как тут станешь, если рвом с водой огражден замок, а из этого окна только и видно

прямую, как проспект реку да чуть на расстоянии густые аллеи Михайловского парка.

И в одной из них - Каштановой Аллее, которую почему-то называют Кленовой, Павел Первый прадеду своему Петру Первому успел роскошный памятник поставить.

Всадник, нет, воин на коне. Как защита. Но не защитил Прадед-то. Не было его уже. Вот, и убили Павла...

Да, к чему я это с утра вспомнила? Да вот, варила кофе, взглянула в окно, а там каштанчик тоненький вместо Мать-Каштанихи, лихими людьми загубленной, нам подсадили. После просьбы горячей нашей нашелся в Смольном добрый человек, услышал. Помог. Сами-то мы не имеем права даже траву посеять в своем дворе. Почему? Муниципальная тётя говорит:

— Нельзя. У нас для таких дел свой штат имеется!

Ну, и посадили они в прошлом году нам каштанчик на каком-то подвое, или как там это называется?

Словно на подставке ствол-то.

Не потому ли деревья в наших городах стали так часто ломаться, что высаживают их абы как, лишь бы подешевле, а в ведомостях едва ли отмечают, сколько копеек такой саженец стоит, а?

И вспомнила я аллеи Павловских каштанов. И в Петербурге, и в Гатчине. Любил он Гатчину-то…

Такой сад там вокруг Дворца его был, что даже фрицев с их бомбежкой и артобстрелами пережил…

Люди после войны заплатки деревьям на стволы ставили, все раны в Царских аллеях сумели залечить.

Как устояли под немцем-то царские аллеи? Устояли, потому что крепки были и хранимы народом. А нынче, как вьюга, как гроза, так по городам деревья, как спички ломаются…

Да и газовые плиты на резинки посадили! По-европейски, черт бы всех их побрал, простите Бога ради. Сколько уже взорвалось домов, сколько на этих резинках людей сгорело! А все в ум не возьмут, что мы - не Европа и не Америка. Мы — Россия. У нас все должно быть прочно и на века.

…Листва на каштанчике желтая, трава вокруг яркая, хоть и говорят по радио, что сегодня день Анны Зимней, и должен быть снег…

2. НОЧЬ МУЗЕЕВ

В полуночном небе за Петербургом вдруг вспыхнули, зажили своей, далекой и неизвест-

ной нам жизнью, звезды. Оказывается, они существуют...

Хихикаешь! А мы как-то, так уж получилось, давно на небо не поглядывали. Что толку, когда из центра Города месяцами не выглядываешь, тут уж не до звезд...

Ехали мы почти в полночь, к Приоратскому Дворцу Павла Петровича, который воздвиг он над чудесными прудами в Гатчине.

Мы видели небо и звезды, дышали ночью, невольно окунувшись в давно забытое...

— Гатчинцы! Гатчинцы приехали! — восторженно кричала навстречу нам, только вошедшим в длинный коридор ленинградской коммуналки, Мария Петровна, хозяйка двух маленьких комнат, которые выделили ей с сыном Александром после реабилитации.

И мы, счастливые уже от одной возможности встречи с ней и Александром, мчались к ней, всегда солнечно гостеприимной.

– Bonjour, ma chèrie, bonne journée! Je suis très heureuse de vous voir! Comment vous allez-vous? **– говорила она, сидя в большом единственном кресле.**

И протягивала мне руки, и я, внутренне горя от счастья видеть ее живой и здоровой, отвечала ей в тон:

– Bonne journée! Je vous remercie! Comment vous sentez-vous?

– Pas mal, pas mal du tout pour mon âge!

И тут же:

– Мальчики, накрывайте на стол, а мы немного поболтаем, – говорила она, царственным жестом показывая мужчинам в сторону кухни и поворачивала так же царственно ко мне свое чудное лицо.

И сколько же светлой радости было в этом приветствии немолодой уже тогда Марии Петровны Араповой, правнучки Натальи Николаевны Ланской – урожденной Гончаровой, той самой, – вдовы Александра Сергеевича Пушкина.

Марьи Петровны, которую протащила судьба через войны и лагеря, расстрел мужа, и, едва ли не чудом найденного – после всего-всего! – сына Сашу, остававшегося совсем маленьким на попечении бабушки – мамы Марии Петровны – в Гатчине.

«Гатчинцы приехали!» – звенело когда-то свободно и восторженно на всю ленинградскую коммуналку.

Она любила Гатчину, юность ее прошла здесь, в небольшом – в два этажа – родительском доме с мезонинчиком.

Только на этот раз все было наоборот: это мы едем из Петербурга в Гатчину.

Предчувствие приключения не оставляло.

Да и сам этот внезапный побег из уютной квартиры на Фонтанке за город, в полночь, –

хоть и уже вроде бы вполне белую, но из самых-самых первых, когда в центре их ночного круга гаснет солнце и не видно ни зги, – был для нас приключением.

Мы ехали к гатчинцам, верным ***его*** гатчинцам, надеясь успеть к 2-часовому ночному факельному шествию у Приоратского дворца – того самого, который построил над огромным прозрачным прудом сам Павел Петрович, правнук великого Петра Первого.

И, если уж признаться, мы ехали к хозяину Дворца Приора – единственного во всей истории Великой России приора Мальтийского ордена.

Вот, как широко раскидывались чаяния Русских Государей!

До этой ночи мы часто бывали и рядом, и неподалеку.

Долгие часы летних каникул глазели на сказочный, как нам казалось, волшебный Дворец-игрушку с островерхой красной башней, сидели на противоположном берегу пруда и чего-то с замиранием сердца ждали: а вдруг?

Но ˝вдруг˝ не происходило, и мы все реже забегали к пруду-озеру у Приоратского Замка, такого странного даже по названию.

И, хотя от нас, живших тогда у Дворцового парка, прилегавшего к Главному Дворцу Павла Петровича, было буквально два шага, мы, од-

нажды поверив, что Приор к нам так ***никогда*** и не выйдет, перестали забегать туда.

Птицами перелетными, каликами мелькнувшими полетели годы…

И пустела наша Гатчина…

И уходили вместе со временем куда-то, в непостижимое, родные голоса.

А потом и их не стало.

И вот, спустя годы, бросив все, что держит человека дома, мы мчимся по ночному шоссе из Петербурга в Гатчину.

И где-то снова идет война за Русь, и звезды, огромные звезды смотрят на нас, и в черноте гатчинских парков самозабвенно поют птицы уже почувствовавшие близкий исход белой ночи, одной из первых, майских.

– Соловьи? Откуда соловьи в это время?

– Да самое время и есть!..

Бездонной показалась чернота Приоратского пруда. Четкие его отражения не улавливала слабая наша кинотехника. А так хотелось «запечатлеть»!

Подумалось: как часто теперь нам хочется что-то запечатлеть, взять с собой, навсегда. Наверное потому, что вторично мы можем уже этого не увидеть?…

Слабая наша кинопленка вообще оставила нам отпечатки Бог знает, чего.

Мы долго не могли с этим разобраться. Признаться, так и не смогли до конца понять...

Но поначалу казалось: чего уж такого необычного?

Толпа в полночь у освященных окон...

Лиц почти не видно. То там, то там мелькнут...

Серьезные мужчины, сдержанные женщины. На плече одного даже ребенок лет двух прикорнул: очередь длинная.

Я – к двум женщинам, по-хозяйски, спокойно сидящим в закуточке, в предбанничке Дворца, в каком-то помещеньице...

Каком – не рассмотрела.

Темно было.

Потому, что ничего кроме звезд, черного неба и еще более черного, как антрацит, озера внизу, где-то глубоко под нами, видно не было.

Словно оказались все мы так далеко, будто и Дворец сам был вообще не на земле, а где-то высоко в небе...

И в то же время, он как бы не был оторван от земли.

Так вот, казалось, что, кроме этого странного ощущения оторванности, внезапного и незамеченного никем бесшумного взлета вверх, в поднебесье, ничего нет на свете.

Да и сам он, возможно, причудился, только из-за обманчивой близости огромных звезд и бездонной черноты вокруг.

Но мы-то знали, что там, внизу, был тот самый пруд, около которого в летние каникулы часами сидели мы в зеленой траве, покусывая травинки, и глядя, кто выйдет из Загадочного Дворца.

Но выходили все не те.

Какая-то женщина, какой-то мужичишко…

Было ясно, что это – челядь. А мы ждали Самого.

Мы всегда его ждали там почему-то.

Дети всегда ждут сказку. Это, наверное, нормально.

Ненормально то, что сейчас.

Почти нет детей во дворах.

И где-то идет война, где убивают детей.

И это где-то – часть России.

Часть святого юга ее, откуда пошла вся Святая Русь, где сама княгиня Ольга, псковитянка, так полюбившаяся одному из рюриковичей – Игорю, и так полюбившая его, что согласилась выйти за него замуж и стать киевской княгиней.

Да, это Княгиня Ольга крестила Русь, дикую, лохматую, упорную, хранящую Перунов своих крылатых…

Уже тогда Русь говорила на многих языках. Не с тех ли пор в Рязани и Польше «цокали»:

– Я спросила: д'милый, цо,
Д'навалился д´ на пляцо?
– А я, д'милая, д'ницо,
Я влюбился горяцо!

– *Цо хцешь?* – спросят тебя грубовато-фамильярно, почти по-свойски, где-нибудь под Вильней. – *Цо ты хцешь?*

Это – по-польски. (Правда, правильнее, – вежливее! – в третьем лице, с неизбежным обращением ˝пан˝ или ˝пани˝ – по ситуации.) Так вот!.. А «Я спросила: д'милый, цо? Д'навалился д'на пляцо?», с обязательным усечением «а» до *незвука*! – это совсем по-русски.

Но я отвлеклась. А тем временем толпа вокруг нас почти не движется.

На нас поглядывают, потому что приехали мы на машине, на которой ярко высвечено: «Петербургское такси», да на шофера, который очумело ходит вокруг грани, очерченной фарами, словно за светлый круг и ступить боится…

И говорим мы тем двум женщинам:

– Ну, здравствуйте, гатчинцы! Как давно мы вас не видели!

А женщины спокойно так, с достоинством отвечают:

– Здравствуйте, коли не шутите! Проходите, гости дорогие. Только народу-то у нас, видите, сколько? Устоите ли?

Я говорю:

– Да ничего, чего там, устоим! Что, мы зря ехали что ли?.. А когда шествие-то начнется?

– Какое шествие? – певуче спрашивает одна из женщин. – На шествие вы уже опоздали.

– Как так? – То ли спрашиваю, то ли нет.

В горле застряло, не вымолвить.

– Шествие-то было в 12, в полночь, как и положено, – поясняет вторая. – Как при Павле Петровиче, или, по-вашему, – Павле Первом.

– Как же так? – обретаю я, наконец, голос. – Как же так? По радио сказали, что будет второе шествие – в 2 часа ночи. Иначе мы бы и не поехали… Мы бы не успевали.

– Да для того, наверное, и сказали, чтобы вы поехали. Да вы не переживайте. Вон, если за Дворец-то слева зайдете, со стороны пруда, там народу поменьше.

И ухмыляются. Но не зло так. По-доброму.

Пошли мы. Обогнули длинную очередь, которая стояла прямо тут, от шикарных древних ворот к тетушкам. За билетами, наверное. Ночь Музеев, но наверно билеты…

Хотя нет.

Быть может, просто поговорить – давно не виделись…

Обогнули мы по узенькой тропиночке и по траве невидимой над бездной висящий угол Дворца, и в это время Серж почему-то обернулся, резко поднял фотоаппарат вверх и начал фотографировать.

– Чего ты расщелкался, – говорю я. – Лучше возьми кинокамеру. Она бесшумная, маленькая.

– Хорошо, – сказал он. Я буду снимать кинокамерой.

И стал снимать.

Да, действительно бесшумно. Но ничего не видно!

Я никогда в Петербурге не была в таком месте, где наша кинокамера ничего бы, совершенно ничего не видела. Она здесь ослепла.

Ну ладно, подумали мы, будем снимать, как снимает, дома рассмотрим.

– Давай, – говорю я. – Попробую, может, мне больше удастся.

Поворачиваюсь к пруду, а за ним как бы становище какое.

С большим шатром и невысокими кострами.

И все это отражается в воде, как в зеркале. Воды самой не видно. Черная, просто черный-черный провал. Как отполированное зеркало.

И я никак не могу поймать эти огни. Они пляшут.

То ли стан так далеко?

– Как же далеко, – думаю я. – Луну-то ты снимаешь со всеми ее пятнышками, улыбочками, щечками, разворотами, глазками. Со всеми ее континентами… Ты луну снимаешь, что ж ты эти огоньки не снимешь? Я же вижу, там городочек, становище там. Я глазами вижу, а ты!

Это я кинокамеру свою тихонечко так упрекаю, а сама жму на «съемку», и снова снимаю…

И проверяю, не ошиблась ли? Может быть, не докрутила какое колесико…

– Ладно, – потом думаю, – пойдем-ка скорее в очередь. Раз уж шествия не будет, то хоть во Дворец попадем.

А Серж смеется:

– Ну, пойдем, – говорит.

И ухмыляется чего-то.

Завернули мы за угол, а там – толпища! И во сне не привидится.

Рядов в шесть стоят. Да все, видимо, знакомы. Между делом так, переговариваются по-

тихоньку. Не спешат никуда. И вроде даже как не двигаются.

Я говорю:

– Чего это вы стоите-то не двигаетесь? Вас что, во Дворец-то не пускают никого?

А мне так тихо какой-то дядечка говорит:

– Пускают, но по шесть человек. Не больше. Вот шестеро пройдут, вот там выйдут, где вы войти хотели, а потом еще шестерых пустят…

О, Господи, подумала я. Развернулась и окна увидела.

Огромные светящиеся, в которые видно все: и маленький белый рояль, и застывшую в чепчике, чуть дремлющую бабушку какую-то в длинном платье с белым фартуком, сидящую между входом в зал, в покои, и коридором с длинными рядами уютных таких стульев-креслиц.

Потом быстрым шагом вошел молодой человек. Высокий красивый.

Четкий профиль. Мальтийский крест во всю грудь шелками закрытую…

Широкая мантия со стоечкой. Нет, скорее темный плащ с капюшоном… Через окно не очень-то рассмотрела.

Красивый повернул к нам голову, взглянул гордо, но ничего не сказал. Отвернулся и быстро вышел.

– Снимай, – говорю я Сержу, – снимай, а то все пропадет.

А тот неразговорчивый. Смотрю, чего-то жмет, свое что-то фоткает.

Ну, ладно, думаю. И снова к обрыву. И откуда такой обрыв взялся?

И снова глаза-то к небу, туда, где островерхая башня. Словно кто позвал меня, огляну-лась.

Самой башни как бы и не видно, и в то же время, вот она, словно звездами обрисована! Загляделась я и вдруг вижу – какой-то белый туман стал кружиться вокруг нее. И сбоку, и справа немножечко.

Густой, плотный такой, живой вроде…

И словно как что-то огромное гигантское неизмеримое шевельнулось, качнулось.

Я опять – Сержу:

– Смотри! Снимай, снимай!

Гляжу, он и сам это видит, Не привиделось мне.

Обернулась к замку, а сквозь окна-то вижу, группа вошла. Из трех человек. А троих в ко-ридоре придержали.

– Ага! Бог троицу любит. – подумала я. По три пускают, не больше. Говорят – шесть, а пускают по три.

Все, вроде бы, рассмотрели и снова – к тем тетушкам, что у входа встречают, пошли.

Говорим:

– Ну, еще раз здравствуйте! Так значит, обмануло нас радио про факельное шествие в два часа ночи?

– Обмануло, – говорят.

– Так может, вы специально передаете такие обманки-то, чтобы народ ехал?

– Нет, – говорят. – Мы не передаем. Мы вот подарок можем сделать. Редко у нас такие-то ленинградцы теперь бывают. Очень редко.

– То есть, как это «такие»?

– А такие, которые к Павлу Петровичу приезжают.

«Интересно, – подумала я. – Как это она догадалась?»

Потом, гляжу на Сержа-то…

– А-а, – говорю. – Ну да, вы все знаете! Он-то здешний, он-то здесь родился. Гатчинца-то сразу видно.

– Ну, да, – говорят. – У нас парни вот такие, вот. Под два метра ростом, да плечистые. Гатчинцы.

Посмотрела я на супруга со стороны, погордилась немножко.

А он говорит:

– Ну что, из сувениров есть что-нибудь для нас?

– Есть, – говорит. Постарше которая. – Есть. Вот Вам – сабелька!

И подает ему футляр.

Красивый! Небольшой, ладони две мужских, если одну за другой протянуть. Ну, с полруки.

– А Вам, – говорит. – Утятю.

– Чего? – удивляюсь. – Какую еще утятю?

– А нашу, гатчинскую.

Гляжу, птичка небольшая. Терракотовая.

«Гатчина» на боку написано. А на другом – силуэт Приоратского Дворца белыми линиями выписан. И – отверстия.

Надо подуть, и музыка будет какая-нибудь, подумала я.

Подула. Какую-то дырочку прикрыла, потом другую, и мелодия полилась.

Народ смеется. Не очень громко. И глаза добрые.

Тут мы про таксиста нашего вспомнили.

Глядим, а и тот вроде бы уже не очень- то нервничает. А то все пыхтел себе под нос вот, мол, завезли куда ночью-то…

Спокойнее смотрит. Не спешит. А чего ему спешить? Наша-то денежка в его карман капает.

Я говорю хозяюшкам-то:

– Ну, ладно. Спасибо вам огромное, земляки. Приедем мы к вам не в ночь Музеев, а в обычный какой-нибудь день, если вы не против.

– Отчего ж против? Приезжайте. Павел Петрович гостей-то любит…

Негромко так сказала, с лукавинкой, и улыбнулась.

…Сколько времени с той поры прошло, точно не скажу. Может, месяца три, может, с полгода.

Рассматривали мы как-то старые пленки, фотографии. Понадобилось для чего-то. Видим, на тех снимках, что Серж в темноте щелкал, обнаружилось вдруг то непонятное, что появлялось в ту ночь над Приоратским Замком – необъяснимое, огромное, космическое…

Смотрим и глазам не верим: на фото-то – рука! Но как бы не вся, а кисть ее над Замком поднимается. А на ладони у нее – огромный светящийся, словно из света сотканный, крест.

И не одна фотография, а несколько, сколько Серж раз щелкнул своим фотиком, столько раз и зафиксировал это чудо.

Смотрели-смотрели мы на них. И вспомнилось: а, наверное, не зря в народе шепчутся, что лучше убиенного Павла Петровича мало, кто помогает от хворей и несчастий.

Как мало, кто. Есть у нас в Санкт-Петербурге такое поверие.

3. ИВАН-ЧАЙ И АПОСТОЛ АНДРЕЙ

Сегодня, 11 июля, в Санкт-Петербург из Греции прибудет православная святыня – крест апостола Андрея Первозванного. Точнее, его Десница с крестом.

Святыня.

Из аэропорта Пулково ее доставят в собор на Невском проспекте – церковь Казанской Божией Матери.

После Санкт-Петербурга отвезут в Москву, в собор Христа Спасителя, а затем – в Киев и Минск. И у всех нас будет несколько дней, чтобы поклониться святыне.

Ах, какой Иван-чай цветет нынче на опустевших полях под Санкт-Петербургом!

Какое лето шествует по травам...

Мы у родной могилки – сынок наш здесь лежит. Все сделано, осталось рассказать новости, молитвочку прочитать да святой водой окропить могилку, чтобы никто не тронул ее, не обидел.

А вот, и большой-большой самолет над нами в сторону Пулково пролетел.

Пролистал облака, как страницы школьной тетрадки.

Наверное, привезли кусочек креста Андрея Первозванного из благословенной Эллады, и

надо торопиться. Но я никогда не могу уйти, не поговорив с сыном обо всем.

– Ты видишь, Тони, какое событие у нас сегодня-то! Мы от тебя – прямо в собор. Конечно, очередь большая будет, но что ж? И за тебя перед Десницей помолимся. Наверное, и Герцогиня с нами пойдет… Ты ее помнишь ли, Лидию Федоровну Капралову, суровую супругу друга твоего Ступина?

В Публичке она работала, портрет принцессы Дагмары опекала, строгая.

В Данию сама поехала, не понадеялась на русский ˝авось˝. А говорила ли я тебе, что три года она супруга своего выхаживала – и за сиделку, и за прачку, и за няньку… Да беда не пожалела ее, ушел он. Долго болел и все ее успокаивал. Очень он любил свою Герцогиню. Да ты знаешь. Это всегда видно.

Да… Одна она теперь…

И снова взглянула я на небо, похожее на василек, выгоревший на солнце, ласковое небо.

И радость какая-то легкая от пустых моих разговоров. С чего бы это?

Всегда почему-то дни наступают необычные, когда Иван-чай цветет…

Пора.

Пора возвращаться. Наверное, у Казанского уже народ.

Приехали домой. Позвонили Лидии Федоровне. А она строго так спрашивает:

– Как это к такой святыне-то не пойти? Ведь Павел Петрович Приоратский Дворец в Гатчине для нее возводил!

– Как … для нее?

– А вы и не знали, что ли? Это невозможно не знать. Шутите все!

А в это самое время смотрю я – по ТВ показывают репортаж про встречу гостей, привезших к нам в помощь десницу Георгия Победоносца с Крестом, которую они у себя на Афоне хранят. Гляжу, и глазам не верю!

Та же ладонь, тот же крест в ней и три зеленых, вроде как пальмовых, листа справа! Все, как на наших фотографиях из Гатчины. Монах, хранящий это сокровище, что-то рассказывает, а я не слышу.

Все смотрю и смотрю. И глазам своим не верю.

И вспомнилось, что после той нашей ночной фотосессии в Приоратском Замке Павла Петровича, или, если хотите, Павла Первого – правнука Петра Великого и сына Екатерины Второй, одарившей его задиристым профилем, появились внутри объектива нашей «мыльницы» три красных пятнышка, словно прожгли его в ту ночь лучи неизвестной природы.

А на фотографиях пятна стали появляться.

Мы приловчились поначалу.

А они – все крупнее и крупнее становятся. А кинокамера вообще работать перестала.

Видимо, придется менять технику-то.

А может, наш «Олимпус» и его ˝подружка˝ просто свой срок отслужили?

Но вот, что интересно.

Все дни, что была эта святыня у нас в Санкт-Петербурге, все почему-то светились счастьем.

В выходные Невский проспект частично перекрыли – подновляли асфальт.

Но как только он остывал, люди по всему проспекту танцевали!

А мы все фотографировали и фотографировали на память.

Потому, что нечастое это зрелище в наши дни – вальс на Невском, когда сотни людей танцуют и улыбаются…

А потом святыню увезли. А через день начался шторм на заливе, подул холодный ветер, пошли дожди… Похолодало.

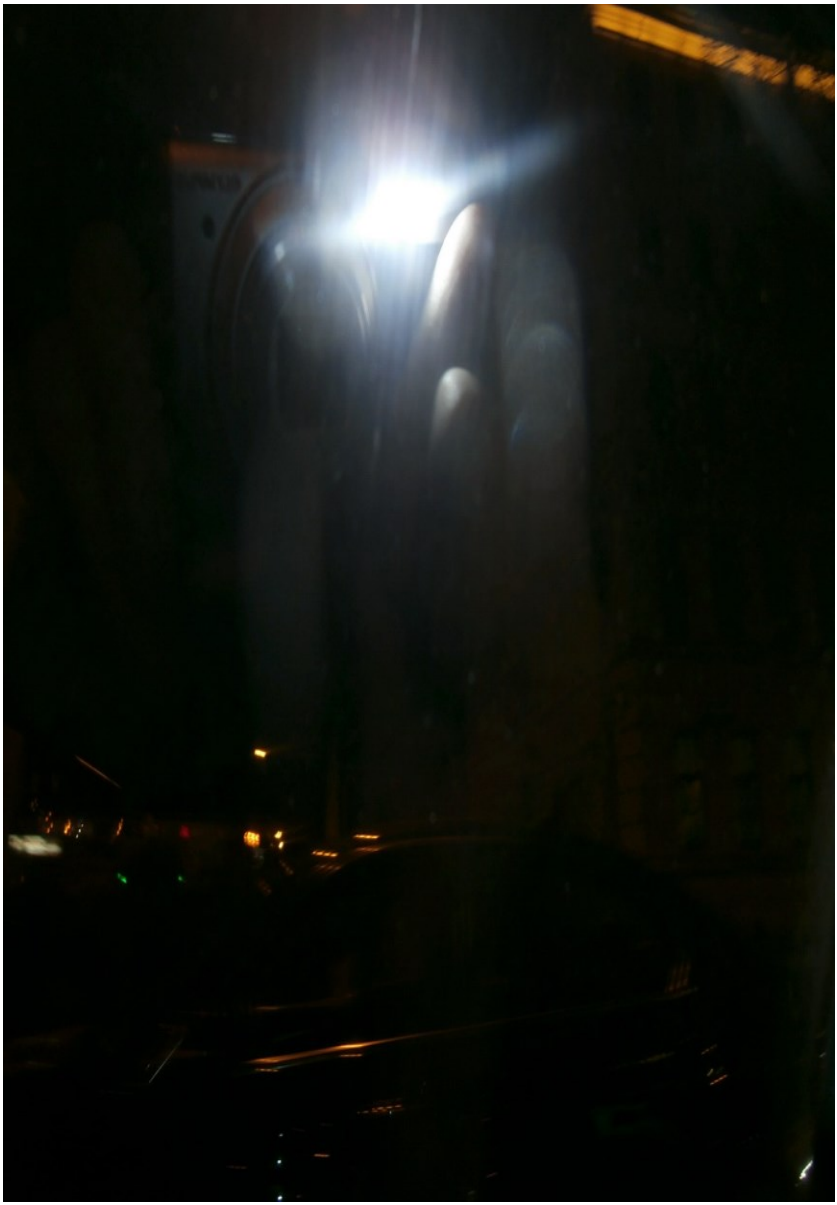


Фото – Серж ТАЛАЛАЕВ
Ночью над Приоратским Дворцом

ДОМ, В КОТОРОМ ЖДУТ

Сыну

Есть события, в которые тебя ввергают внезапно и помимо воли твоей.

И ты идешь на поводу, доверяясь ведущему, полагая его умнее себя и мудрее...

И уж никак не предполагая, в нем нравственной ущербности, или, как говорили у нас, в Сибири, червоточинки...

О чем я – сразу и не понять. А дело было так.

Пригласили нас как-то на дачу в Репино – не то, чтобы далеко, но и пешком не дойдешь, если вздумается...

Но согласились мы.

А время было такое, что потеряли мы сына нашего. Единственного. Да...

Ушел из дома за пачкой сигарет в светлый белый вечер, да так и не вернулся. И ждали мы его каждую секунду...

Обманывалась я часто, словно глаза мне кто отводил. Бегу к человеку, он стоит, ждет, смотрит на меня по-доброму. Я подбегу:

– Сынок, ты где же пропадал так долго-то?

А счастье меня такой волной заливает – нашла, дескать. Никто не верил, а я нашла!

А он говорит, что не наш он сын-то, что ошиблась я...

Уходит, а ты стоишь и смотришь и все не веришь ни глазам своим, ни словам, услышанным...

А еще так получилось, что пришлось нам в другую квартиру переезжать. Наша-то больно кому-то богатому по душе пришлась...

А я не хотела уезжать из той квартиры – а вдруг сын вернется. Сказано же, жди, пока сам жив.

Мы и ждали.

А если переедем, куда ему вернуться-то, как ты думаешь? Некуда!

Потому-то я из новой квартиры не отлучалась надолго – так, до магазина за хлебушком и сразу назад.

А тут – Репино!

Но уговорили меня.

Воздух там на море да соснах настоян. Я как поднялась на этаж, где камин был, прилегла и отключилась.

Слышала, как укутывали меня теплым одеялом, как чистое живое тепло шло от камина... А потом и совсем забылась.

Просыпаюсь, а уж вечер!

– Мне домой пора, – говорю. – Простите, засиделась я. Простите.

А хозяйка-то говорит мне:

– Куда ты заспешила? Снова бензином дышать. Оставайся у нас, поживи, а то одна тень от тебя-то осталась.

– Нельзя нам, – говорю. – Домой надо. А то у сына и ключей от новой квартиры нет. Придет, а дверь на замке.

– Кто придет? – спрашивает хозяйка наша гостеприимная. – Куда придет?

Взглянула на меня и осеклась вдруг.

Пошла куда-то: в дорогу соберу тебе хоть чего-нибудь.

А мне все равно. На небо поглядываю. Смеркаться стало…

– Ой, а тебе какая-то Наталья из Сусанино звонила. Я не стала тебя тревожить. Перезвонить просила.

Я за телефон:

– Наташа, прости, что давно не звонила. Как вы там? – спрашиваю и чувствую, что пустой вопрос.

У них там, в Сусанино, беда на беде да бедой погоняет…

Молчит Наталья, словно от одного голоса моего задохнулась…

– Ой, Наташа, ты запиши новый адрес. Мы на Фонтанке теперь – говорь, чтобы из молчания ее вырвать.

– Как на Фонтанке?! – кричит Наталья. – Как на Фонтанке?!

И кричит моя тихая терпеливая голубка Наталья, от которой никто никода не слышал слова громкого, страшно так кричит, словно слезы перебить хочет.

Слушаю этот крик, и понимаю, что за ним – многое, а что, мне не догадаться. И говорю, чтобы успокоить ее как-то:

– Пришлось переехать нам, Наташа. Ты запиши адрес-то!

– Матушка Вы моя, мне ведь сын наш Проша трижды приходил, говорил, что переехали вы на Фонтанку. Найти вас просил. Очень просил. Последний раз даже номер дома назвал!

Вот оно что, думаю. Убили ведь Прошу-то. Три года, как убили. До нашего переезда.

Значит, приходил…

– Какой номер дома Проша-то назвал? – спрашиваю. – Какой он назвал?

– 83. Я ездила, только ничего там не нашла, – кричит Наташа.

Кричит, потому что от такого несовпадения с ума сойти можно – сын убитый к ней приходил правду сказал про Фонтанку. Трижды правду.

Вот только номер дома сдвинулся. Как бы старый номер нашего дома на Суворовском, если наоборот прочитать. Перевернулся.

– Он номер дома перепутал, – говорю. – У них там с нашими цифрами да числами не очень…

Говорю, а сама вспоминаю, как облекая Прошеньку в последний путь, убирая из гроба, от лица убитого мальчика живые цветы – гниют быстро! – и заменяя их на рукодельные, говорила ему:

– Ты не бойся, Прошенька, все наши уже там. И Саша Романов, которого ты помогал папане отпевать, и майор Витя Ивашин – его машину по пути из Бородино какой-то КамАЗ раздавил… И Игорек, брат сводный Антошин под банду попал. Тоже там, куда ты идешь…

Помолчала, прежде чем сказать о самом страшном и важном:

– А совсем недавно и Антошу мы похоронили. Ты там его найди, Проша, – говорю я. – Скажи ему, что переехали мы на Фонтанку. И адрес запомни.

И так говорю, что знаю, сделает так, как прошу.

Похоронили мы Прохора – 16 лет всего побыл на этом свете, отпели его отцы святые, землей прикрыли…

Знала я, что непростое это убийство.

Сначала деревенские – или кто там? – собаку убили, потом дом сожгли. а потом ранним утром матушка Наталья, встревоженная отсут-

ствием сына, бросилась его искать. Да в первом овраге нашла, у родника.

Все потому, что отец – священник…

Сижу, задумалась.

А хозяюшка спрашивает – что за Наталья, да что за Прохор, да может, передумаю я уезжать в дымный Петербург.

– Матушка Наталья, – говорю, – мама Прохора Перекрестова из Сусанино.

Убили его.

В 16 лет убили.

Три года тому назад… Сын священника, потому и убили. Проклятый народ это сделал. Так что, мне домой пора, в Петербург…

Поняла меня хозяюшка добрая. Сама за руль села и за полчаса довезла меня до дома, в котором всегда ждут…

Санкт-Петербург

КРЕСТ В НЕБЕ

Памяти Андрея ТАРКОВСКОГО
и Натальи Никитичны ТОЛСТОЙ

И опять ничего не получалось – вспыхивала темнота, врезаясь в мой сон тихими стонами старого надоевшего блюза, и темнота за шторами была плотной и неподвижной, и снова не

было рядом ни карандаша, ни ручки, чтобы записать ускользающее в вечную неподвижную ночь, в эти ее бездонные 3 часа — всегда 3, почему?

И над всей Австралией осыпались звезды, осыпались прямо в мешки беременных кенгуру, и возникало из неоткуда и поверх всего бледное лицо Натальи Никитичны Толстой, которую уже, наверное, никто не помнит, кроме родных и меня, чужой, но помнящей, потому что только мне написала она перед отъездом в смерть:

— Обязательно опубликуй стихи, слышишь, Иванна? Дай слово, что ты это сделаешь, даже если я никогда не вернусь?

Да, сказала я.

Но без нее «Аврора» была пуста, мне не хотелось заходить в редакцию ни на секунду.

…Я сидела, сжавшись в комочек под алым парапетом Петропавловки, среди загорающих по последнему снегу — таких взрослых! — женщин и мужчин, и стихи окутывали меня, пронзали, я была вся соткана из них.

Я прижимала к себе пустые руки, не отрывая глаз от Невы, и песок был прохладен, а Нева становилась все ярче и синее, и временами казалось, что она прячет в волнах ладожский лед.

…Я всю жизнь искала ее.

Я верила, что она вернется, и я ссыплю с себя стихи — ворохом, к ее ногам, всю груду строф, которые являлись ко мне с той самой минуты, когда мне подарили карандаш и показали, как им записывать слова, которые приходят к тебе то как песенки, то как сонаты, то как гремящие где-то литавры, и уходят дальше, уступая местно новому потоку.

— Я уезжаю в Швецию, — кажется, так она сказала, не помню.

Может быть, в Швейцарию?

Но шли годы, а ее все не было, и стихи громоздились повсюду.

Нет, конечно, кто-то их публиковал, я читала их вместе с другими одаренностями по телевидению...

Они как-то жили сами по себе. Как-то так...

Спасало только то, что каждый день я должна была писать для газеты, и на какое-то время можно было отгонять их.

Но наступали ночи, и сирень под окном росла стремительно, словно рвалась заглянуть за 9-й этаж, где каждую весну просто с ума сходили от безмерной своей любви соловьи в кустах над Вилией, которую когда-то штурмовал Наполеон, а наш Императорский Двор, проводивший то лето в Вильне, смотрел, как тонут в

стремнине конногвардейцы, бросившиеся навстречу штурмовавшим французам, — за Царя и Россию.

Толстой очень хорошо описал это в «Войне и мире».

…И висел огромный огненный, во все небо, крест, а вскоре, устав глядеть на него — непостижимо зачем и откуда взявшегося в небе за моим окном, я отложила пачку бумаги, исписанной стихами, и сквозь треск нерусских голосов, шипящих в маленьком радиоприемнике, услышала русское имя — Тарковский.

Спал Вильнюс. Спал Антоколь. И юный Генерал Черняховский еще охранял нашу безмятежную тишину, которая раскололась фразой о том, что умер Тарковский, и вот, его последнее интервью.

Он говорил тихо. И можно было слушать его бесконечно.

А потом он сказал, что нельзя русскому без России.

А Наталья Никитична, может быть, уже была в России?

Но это для меня было так же недоступно, как несуществующая моя Австралия с ее невозможными кенгуру. И как сама Россия.

Vilnius – Санкт-Петербург

From Jorge Malina

ШИШИГИНЫ КОСИЧКИ

Целый день сегодня, а точнее, целый вечер, как только пошла на Город огромная черная туча, и все мы стали ждать большой грозы, решилась я рассказать тебе страшную-страшную сказку.

О Домовом.

И вот, ведь, как так оно бывает…. Все началось даже не с тучи.

Туча крутилась над нами, грозу обещала, да даже не погромыхивала.

А я все стояла и никак не могла расчесать волосы после вчерашней поездки.

В дальние края. На самое дальнее наше кладбище.

После пожара, там случившегося, крест надо было поправить.

Срочно.

Да очень уж мне снова сыночка увидеть хотелось. Не подумайте чего. Понимаю, что убили его. А сердце не верит.

Никому про это-то не сказала - засмеют. Или отвернутся, подумают что нехорошее. Потому и промолчала.

А ехать пришлось долго, чувствовала я себя плохо, мало сказать — прескверно. О таких говорят: краше в гроб крадут. Да.

День выдался жаркий и душный, но суть в том, что позвоночник мой, перебитый при мелком ДТП, все не срастался…

И прав оказался тот доктор, который велел мне спать только на фанерной доске, носить бандаж соответствующий несгибаемый — бронник я его называю, и ни при каких случаях не сидеть, а иначе, говорит, парализует тебя как врага народа в 1937 году.

— Почему в 37-м? — спрашиваю.

Молчит, пыхтит, бегает вокруг меня и все про врага народа. Наверное, всяких Коротичей в 80-90-х поначитался.

Много у нас тут по страницам бумажным в те времена люда разного пробегало. Ну, а на бегу всякое может случиться-то.

И «воробышек», простите, бывает, выскочит. Ну, да не о том речь.

Ехать в машине, как все, я не смогла.

Пришлось мне лечь на заднее сиденье.

Кто-то подложил мне под затылок куртку, по-солдатски скатав в валик.

И стало терпимо так, боль всю вроде как к спине оттянуло, и доехать теперь я смогу.

Дорога, повторяю, была неблизкой, и в конце дня, когда вернулись мы домой, обнаружила я, что волосы на затылке у меня скатались так, что не расчесать.

Ничего — терпением да умением, подумала я. Капля по капле и камень точит. А тут волосы. Состригу, если что.

И тут же спохватилась: скатки такие не к добру, и говорили мне наши ссыльные бабушки из разных спецконтингентов: никогда не стриги.

Распутывай сама.

По волосочку. А резать не смей. А то сам обидится.

— Кто обидится-то? — спрашиваю.

— Как кто? Тот, кто тебе косицы мелкие эти наплел.

— Так кто ж наплел?

— Он. Хозяин. Домовой твой. Домовушка.

— Еще чего! — говорю.

И пошла себе.

Но запомнила бабушкину сказочку на всю жизнь: не срезай косы Домового — беда будет.

***

И вот, разбираю я волосы на затылке, как могу. Глядь, чувствую — косица под рукой. Да плотная такая, путанная. Словно не людские пальчики плели ее, а...

И сказать страшно...

— О-гооо! — думаю, не взлюбил меня Домовой-то, раз стал косы мне заплетать — в дорогу готовить, из дома гнать.

Все этих шишигиных косичек потому и боялись. Смертельно боялись.

Кому из дома исчезнуть-то хочется? Нет на Руси таких.

Нет…

И вот, стою я, гляжу на тучу за окном.

А она все кружит и кружит, словно кто-то в небе черный бульон заваривает.

И тут я вспомнила о Домовом.

Трудно поверить, но с ним связано было все наше детство.

— А почему, Ба?

— А так вот получалось…

Народ был малограмотный, церкви, где людей учили не только уму-разуму, но и грамоте, и счету, и разным языкам, и пению — красиво пели в старых церквях, говорят! Так вот, пока церкви не порушили, народ знал, у кого спросить.

Если что, к батюшке шел…

А тут такие времена настали, что не очень-то к кому пойдешь.

Вот народ и объяснял непонятное, как мог…

Был у нас один случай.

Может быть, кто знает, кто помнит, а кто нет, были времена, когда раз в году готовились

женщины в каждом доме, в каждом городе и деревне к Чистому Четвергу.

И уж к этому самому дню они мыли, чистили, скребли-вычищали, сдували каждую пылинку со всего, что могло оказаться в доме.

Дома были бедны. Но обычай есть обычай!

Обычаи соблюдались. Тем и богаты были.

И вот, однажды, как-то захожу я в мамину комнату и вижу вдруг вместо мамы как бы часть ее только. Сама она почти вся почему-то под кроватью, и торчит оттуда только край халатика да каблучки.

Мама всегда носила каблучки. И шляпки. За что ей пеняли, порой, кое-кто из всевозможного окружающего нас контингента, да и кого прочих... Но суть сейчас не в этом. Суть в том, что я вошла и сказала:

— Мама? Что ты там делаешь?

Мама выглянула из-под кровати, а кровать была большоооой! По моим тогдашним понятиям, так просто великанской.

Высокой, уютной.

Наверное, потому никому из детей прыгать на ней не разрешалась. Навернутся еще, чего доброго?

А было нас, детей, в доме четверо и семья была сборная...

Я у мамы одна, а остальные братья да сестры сводные были от умершей при родах женщины, детей которой мама пожалела и согласилась выйти за Иваныча, так и не дождавшись, когда же вдруг вернется с давно окончившегося фронта мой отец, от которого хранились в доме несколько фотографий, пачка писем да похоронка…

Мама вышла замуж за человека хорошего, семейного, доброго и тоже соблюдавшего русские обычаи – а то! Был он из потомков Ивановской опричнины, и родни имел несчитано, да все по том местам, где предкам жить царем было положено – от Александровской Слободы до Переяславль Залесского, Берендеево, Загорска, да вокруг Москвы, да в самой Москве, в меру кучно – на расстоянии свиста, если что.

Отчим был московский, всем Ива́новым родня, и обычаи они соблюдали крепко.

Так уж было в нашем народе: где бы ты ни родился, где бы ни поселился, а обычай у всех один.

Так вот, отчим-то мой был из Москвы. А мама Петроградская. Но зато отчим-то был свободным, а мама с не очень, по новым временам, ˝хорошим происхождением˝ – из дворян.

Ну, и уравновешивалось как-то.

Во многих семьях тогда было так.

Многих женщин с детишками спасали тогда от ненужных вопросов пережившие фронт мужчины. Обычай был такой — в беде не бросать.

Вслух не говорили. Молча соблюдали. Древний обычай...

И что было самым главным — так это то, что обычаи у всех-всех-всех были одни.

И кухарки, и крестьянки, и бывшие дворянки, даже дети которых и внуки определенных-то прав лишались, несмотря ни на что, русские традиции все чтили.

И одна из них была — Чистый четверг.

Кажется, так он назывался.

И к этому дню в каждом доме все чистили-вычищали.

И застала я маму за этой самой чисткой.

Выползла она из-под кровати, села на полу рядом со мной...

А лицо все — в румянец. Белые локоны аж светятся...

— Ты чего, Мам, — говорю. — Ты чего там делала? Скажи-ка ты мне правду.

А она говорит:

— Так и быть, скажу, потому как подрастешь, тоже будешь это делать. Если обычаи наши не забудутся...

— Какие еще обычаи? — говорю. — Ты там что делала? Под кроватью-то?

— А я там Домовушке сухарик оставляла.

— Чего-оо?

— Ты же видишь, как все вымыто, выбелено, вычищено. Нигде пылинки нет, спасибо вам — помогли. А Домовушке-то поесть нечего! Вот, проголодается он, проснется утром, или к ночи — не знаю, как он там живет-то, пойдет покушать, а кушать нечего.

— Ну, как «нечего кушать»? А кухня? Кухня, ведь, есть! И хлеб, и сахар, и масленка!

— Он не пойдет на кухню есть. Он сам не берет покушать. Потому все женщины и кладут ему под кровать сухарик. Раз в год.

— Раз в год! И ему хватает?!

— Да, девочка моя, хватает ему этого. Потому, что дело не в том, сколько съесть, а в том, что о тебе не забыли. И ты нужен кому-то.

Рассказала мне мама эту баечку, и занялись мы с нею обычными какими-то делами.

А у меня все из головы этот Домовушка не выходит.

— Мама, а какой он?

— А кто же его знает? Маленький, говорят, темненький. Но вредный. Лучше к нему не лезть.

— То есть, как — не лезть?

— Ну, не лезть и все. А то еще напугает.

А тех, кто пугает-то, мы боялись.

У нас таких не было. Может, все по тюрьмам сидели, которые детей пугают, или еще где...

А в поселке-то все были сосланные да ссыльные, да поселенцы. Все – хорошие люди.

И вот, однажды, мама с папой собрались куда-то. Причем, событие было, видимо, большое.

Потому, что собирались на него все взрослые поселка.

Не знаю, что там происходило.

А нас, детей по квартирам кучками, – вместе чтобы были, когда старшие за младшими смотрят, тогда и порядок.

К нам в квартиру набилось человек 12, дали нам свечку, старшим велели за малышами следить, да чтобы свечка не нагорала сильно, да не капала.

И, чтобы никто не баловался. Чтобы младшие не подожгли чего...

И от этой свечечки только в центре стола круг высвечивался. А дальше была темень беспросветная.

И вот, мы сидели, играли. Во всякие игрушки, в фантики, в города да пароходы, в «Вам барыня передает привет. Да или нет?» ...

А потом моя старшая сводная сестра, самая большая в поселке заводила, которая всегда ухитрялась попасть кому-нибудь под горячую руку, вот только обижать ее никто не посмел бы, — говорит:

— А давайте проверим, кто у нас смелый, а кто - нет?! И есть ли среди нас тру́сы?

«Как это тру́сы?! Мы же русские! Русские никого не бояться, никогда не сдаются!»

«И всегда побеждают!»

Чего тут только не наговорили...

Так мы и считали, да.

А она говорит, а мы сейчас проверим:

— Вот если в дальнюю комнату кто пройдет, там большая-большая кровать. А за ней — книжные полки.

Ну, в темноте этого все равно не видно.

Так вот, кто побоится сбегать туда, слазить под эту кровать, просчитать там до пяти, взять с нижней полки книжку и прибежать сюда, тот трус!

Тихо стало в доме. Свечечка горит слабенько... Чернота вокруг ещё плотнее, ещё гуще...

Густеет и густеет, будто хватает всех нас — кого за руки, кого за ноги, кого за сердце — аж страшно так...

А признаться никто не хочет. Все смелые. Сводная-то моя говорит братцу нашему:

— Ну, ты первый пойдешь!

А он самый маленький был. Не понял. Спрашивает:

— Куда ты велишь идти мне? На улице-то холодно! Не пойду никуда. И батя не велел, и мама запретила. И даже валенки спрятала! 50 градусов мороза — куда я пойду?

— Чудак! — говорит старшая сестра. — Я тебя не на улицу. Я тебя в самое теплое, самое че-е-е-рное место прошу сходить, пролезть под мамин-папину кровать, там, из-под кровати же достать какую-нибудь книжку с нижней полки и принести сюда.

— А че это я за книжкой в темноте пойду? Дай свечку мне! Я со свечкой пойду.

— Нет, пожар устроишь! Ты совсем малявка, какая тебе свечка! Ты вон еще под стол на коне ездишь!

— Тогда ты неси свечку, — говорит он.

— Нет, так не велено.

— Кем не велено?

— Как это кем? Условиями игры. Пойдешь один и принесешь один. И докажешь, что ты самый храбрый среди нас.

— Ну, ладно, — говорит Витька. — Пойду один.

И поковылял.

А был он маленький, белоголовенький, и сам весь белый-белый.

Даже ресницы белые.

И ни кровинки в лице. Слабенький был, ножки кривые, потому, что это его мама умерла при родах и кормили его искусственно – разведенным молоком. В основном, сухим.

Иногда коровьим, если удавалось достать.

Годика три ему уже было, когда ходить стал. Болезней много отошло от него. Подлечили его бабки-то поселковые.

Среди переселенцев мудрых было много. Не так, чтобы каждая. Но много.

Смотрим, побежал он, заспотыкался, пару раз упал, шлепнулся. Но не заплакал.

Плакать он никогда заводился. Вот, чего никогда не делал.

Все пережил этот парень в своей жизни. Через все болезни перевернуло его, через все болячки, да такие невзгоды, что и подумать страшно. Только плакать никогда не плакал.

Наверное, когда рождался на свет, а мать умирала, отплакался на всю свою жизнь…

И вот, возвращается он с книжкой в руках. Веселенький:

– На-те вам!

Бросает добычу на стол, а сам – за конфеты.

Были тогда такие конфетки — «подушечки» назывались. Выдавали их нам счетно, да еще делили на четыре части. Редкость…

А, бывало, и прохожий подарит. От жалости к нам, детям, что ли. В войну — какое детство!

Там иногда и крошки махорочные прилипнут к «подушечке», но никого не смущало это.

Потому, что не было на свете еды слаще.

И то сказать, какая война прошла по нашей земле! Мы победить-то победили. А сколько враг разорил, сколько людей полегло, скольких парней да отцов в дом не вернулось!

И было великой радостью ребеночка угостить сладким, а уж вырастить!

И женщины — каждая! — мечтали, хоть какого-нибудь, хоть от кого, ну, словно бы так, в долг у судьбы, что ли, взять, лишь бы доченька или сыночек рядом росли.

Чтобы было о ком всю жизнь заботиться, и не стареть в одиночестве.

Потому, что старых людей тоже было мало, немногие пережили войну. И не только.

Но об этом — потом. Потому, что увидела я, как указующий перст старшей сестры приказывает мне:

— А теперь ты иди!

— И пойду, — говорю я.

— Ну, давай! Только не за пять секунд — туда-сюда, а чтобы пять раз просчитать, лежа под

кроватью, да так, чтобы мы слышали, что ты оттуда, из дальней комнаты считаешь, а не за дверью стоишь.

— И просчитаю, — говорю я. — Подумаешь!

Первую-то комнату я прошла ничего. Там, вроде как, не так черно показалось…

А оглянешься если, то и свет с кухни, хоть чуть-чуть, да виден. И голоса слышны.

А как зашла в третью, самую дальнюю от кухни комнату, где ребята остались, черно стало, хоть глаз выколи — темнее не станет.

Подошла я к родительской постели, откинула покрывало, сунулась под кровать и тут вспомнила про Домовушку нашего.

Говорю для храбрости, что ли:

— Домовушка, ты меня не приглашал, а я, вот, в гости к тебе без спросу иду…

И страшно мне стало…

И вот, я вам передать не могу, что такое настоящий страх…

Это, когда тебя пробирает от макушки до пяток, всего-всего, и ты сам не свой, ты сам не знаешь, где ты? Живой ли ты, мертвый ли?

И будут ли люди живые когда-нибудь в глазах твоих?

И услышишь ли ты когда-нибудь человеческий голос?

И вообще, есть ли ты, или тебя нет?

И будешь ли ты вообще когда-нибудь на белом свете?

А потом и эти мысли исчезают.

И нет ничего.

Ни слова. Ни мысли. Ни звука. Ни крика.

Только страх. И страх этот как бы обматывает тебя черной душной ватой.

Всю-всю-всю.

Ноги, руки — все-все — становится ватным.

И не двинуться...

И тут я вспомнила, что на кухне ребята ждут, когда я прокричу, просчитаю до пяти.

А мне уже было как раз 5 лет.

И вот, я кричу из темноты:

— Год!

— Два!

— Три!...

И так до пяти досчитала. А про Домовушку, вроде, и забыла. Зато вспомнила, что надо еще книжку вытянуть из шкафа.

Протянула руку, книжку нащупала, взяла.

А когда назад-то я ее волокла под кроватью-то, что-то меня за руку царапнуло.

Ой, подумала я, Домовушка-то сухариком угощает!

И бегом! На кухню! Через комнаты, черноту — к свету, к свечечке:

— Вот, вам, — говорю. — Книжка!

И все сидят и смотрят на меня молча.

То ли долго меня не было, то ли я в лице как-то изменилась...

Смотрят, как на чужую.

Будто что-то во мне отразилось…

— Ну, вас, — думаю. — Что за книжка-то мне досталась? Интересно.

Открыла. И зачиталась.

P.S. Только вот с тех самых пор никогда никого и ничего в жизни я не боялась. И еще одно. Пока я дописывала эту бывалочку-то, шишигины косички сами расплелись, волосок к волоску…

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ…

Как узнать, что за человек перед тобой? С добрым ли сердцем или с камнем за пазухой? Сразу и не разберешь.

Стоит перед тобой такое улыбчивое очарование. Раз повстречались мимоходом, два — соседи почти. А на третий раз говорит он:

— У вас денег взаймы не найдется?

— Найдется. Если немного.

— Да мне чуть-чуть, с тысченочку. Заработаю — верну.

О чем разговор? Нашли ему тысченочку-то.

А через недельку дней снова:

— Не одолжите ли еще? Извините, вернуть пока не могу, работу ищу все. А заработаю, так сразу и верну.

Мы поприкидывали так, да этак. До пенсии еще шесть дней. Ничего, протянем как-нибудь.

— Ладно, — говорим. — Вот, тебе еще тысченочка. Будет - отдашь.

Зря человек не попросит. Значит, надо ему.

А вскоре опять останавливает нас. То да се. Слово за слово. Братишка, мол, не слушается, шалопаем растет, мать все на работе. А его, вот, не берут что-то. Вроде, специалист неплохой, в армии ценили.

И чувствую, что деньги ему нужны, а сказать не решается.

— Знаешь, — говорю. — У меня для тебя подарок есть. Ты ведь в ноутбуках разбираешься?

У него глаза даже загорелись — конечно, как же!

Кто из нынешних-то мальчишек в компьютерах не понимает? Все чуть не в них рождаются.

— Пойдем тогда к нам. Посмотришь.

Была у нас одна машинка. Подарили нам. Дорога сердцу, ничего не скажешь. В счастливый случай дарили…

Но для моей работы слабовата она. А ему, видать, нужнее. Может, его и дожидалась.

— Не новая, — говорю она, — но в состоянии хорошем. Почистишь, обдуешь да и продашь. Дорогая она. Вот и будут тебе деньги на первое время. А там и работа найдется, даст Бог…

Увидел он нашу машинку, к сердцу прижал, лицо счастливое. Говорит:

— Вы даже себе представить не можете, как вы меня выручили!

И побежал, и все одно приговаривал «спасибо» да «как же в меня выручили».

Ну, от вида такой радости и нам хорошо стало.

А вечером звонит Фенечка, мама его. О том, о сем поговорила.

Удивилась я. В подругах не ходила, да и в друзьях не были. А вдруг позвонила.

Она тут и спрашивает:

— Вы моему старшему ничего не дарили?

—А что? — говорю.

И не знаю, можно ли сказать — с парнем-то не обговорили. Но соврать нельзя. Грех.

— Не, — говорит Фенечка. — Вы скажите, он мне врет или правду говорит, что…

— Правду, — говорю. — А ты чего всполошилась-то?

— Ой, — говорит. — Слава Богу! А то я такое подумала…

— Какое? — спрашиваю.

— Украл, — подумала.

А в голосе - ужас.

— Вещь-то дорогая…

— Не переживай, — говорю. — От нас подарок.

Смеется, легко матери-то стало.

И все бы хорошо, и все бы ничего. Жили рядом, да не встречались - пробежишь мимо: привет! И дальше каждый по своим делам.

А тут она, мать-то парня того звонит. Поздно, чуть не в полночь.

— Мне, — говорит. — Деньги нужны. Ненадолго. Тысяч десять.

А откуда у нас с отцом такие деньги? И до пенсии-то не знаем, как дотянем, а тут!

Да это как миллион попросить. Для нас что миллион, что 10 тысяч, когда до пенсии неделька последняя потекла...

И горько мне стало.

И обидно за нас, состарившихся и никому не нужных. Всю жизнь работали, а вот зубы вставить не на что... Всю жизнь работали! А в руках — пепел один от могил...

Мне бы обяснить ей все по-человечески. А она веселенькая, с корпаратива какого-то звонит. И чего о нас вспомнила? Голоса пьяные, музыка там какая-то. Веселье гурьбой.

И брякнула я:

— Нет, Фенечка, денег у нас таких, чтобы в долг отдать, нет.

И добавила сдуру, наотмашь:

— Да и долгов вы не возвращаете!

И трубку отключила.

И позавидовала я тем, кто уже умер.

…Много лет прошло с тех пор. Много воды утекло в нашей Фонтанке. А история эта все болит, все не забывается…

Санкт-Петербург

ПРИШЛИ И УБИЛИ

Вот эти люди, эти муниципальные чиновники, которые даже не вспоминают нас, пришли, разрушили уютный питерский дворик и ушли, а мы не смогли этому помешать.

Почему?

Не смогли. Не мы - власть.

Но у меня украли все утра. Не к кому теперь мне спешить на кухню, не с кем разговаривать мысленно, потому что за окном ни Каштана-матушки, ни спящей на ней паре больших умных птиц, ни бесстрашных дворовых кошар, рожающих периодически по одному-два котенка, выкармливающих их, а затем обучающих терпеливо - часами! - охоте…

Сколько сюжетов, сколько рассказов украли эти мун. чиновники, даже не подозревая об этом.

Да что им до этого?

Что им до того, что рухнуло навсегда, когда они демонстративно, на глазах всех взъерошенных жильцов вырвали из земли витую ре-

шетку, и ставили в нашем крохотном дворике гигантскую кладбищенскую ограду из водопроводных труб.

Для чего?

Не знаю. Говорят, за решетку хорошо заплатили.

Только после того, как не стало нашего 200-летнего питерского дворика, не стало и Фонтанки.

То есть, она еще течет мимо нашего дома, но все спуски к воде забаррикадированы причалами и пристанями, и негде посидеть утром, глядя в прозрачную воду на рыбешек, выпрыгивающих из тихой воды, слово посмотреть на восходящее солнце...

С тех пор, я ненавижу всех чиновников, потерявших человеческое.

Люто. Классово.

Потому, что они не понимают, что это не они подвесили себя и всех нас на тонкие веревочки по имени жизнь, и не им их обрезать.

И никогда не поймут.

Я не ною. Не жалуюсь.

Я даже рада, что многие мои соседи не дожили до этих дней.

Мне кажется, при них никто не решился бы срубить сирень и единственный каштан, украсть нашу решетку и замуровать в подвале ту самую кошку с новорожденными котятами, которая так умела обучать их охоте на крыс.

БЕСЫ

Лето крученое, ледяное, стылое. Началось чертями, чертями продолжилось.

Не придумываю. Так было.

Шли мы вдоль Фонтанки, по кривым ее древним гранитным плитам – нынче таких не делают, и мне жаль, если их сменит какой-нибудь серенький ширпотреб вроде того, что начал было кто-то укладывать вдоль по течению от Аничкова моста, да ненадолго его хватило.

Наши плиты помнят шаги Пушкина и Государей русских, и Государынь с их свитами, и каретные спуски к пристаням, только вот сами пристани кто-то ободрал.

Сквозь прозрачную воду видны каменные ступени. Из каждого камня штыри литые торчат. На них плиты и держались, да кто-то сорвал их, не поленился.

Видимо, клады искали, да не нашли. Ради них и старые дома крушили, ради них…

Много кладов в столице Русской Империи. Да и чертей не меньше.

Мы пятерых сразу встретили. С рогами и черным флагом, на котором белым череп человеческий изображен да кости.

Недобрая это была встреча, потому, что на плиты-то они не ступали, по газону шествовали, по высокой травке.

Видимо, им так сподручнее было. А мы – по кривым нашим плитам. Идем, а тут они!

Нам бы перекреститься!

Да разве сообразишь сразу-то?! Вот и поплатились.

Не верите? Ну, и слава Богу. Повезло вам, значит. А это редкое счастье. Потому, что нет существ более мерзких, чем бесы.

А бесовщины в Санкт-Петербурге все прибавляется.

Отчего бы это? Не знаю.

Вы любите кошек? А я со вчерашнего дня без отвращения видеть их не могу. Не-мо-гу!

До вчерашнего дня все было не так.

А вчера пришлось мне нечаянно увидеть кота-педофила. Вспоминать не хочу, рассказывать не могу физически.

Но только одно скажу: пока бежал народ с этажей, чтобы отнять у него котенка, уже полуживого от горячей, с краткими перерывами на отдых, «любви», тот успел на глазах у всего люда – орущего, кричащего, надеющегося испугать ирода, снова вцепиться в окровавленную шею котенка зубами, швырнуть его на бок и улечься рядом…

Что там дальше было, не знаю, не видела. Люди и без меня разобрались.

Только вот через день явился он в наш двор снова. И нарвался на кошку, которая с таким визгом и грохотом разобралась с ним, что тот едва сбежал. Опять успел, пока люди по этажам ковыляли…

А началось все это бесовское нашествие на Санкт-Петербург с осквернения Литейного моста Пуськами, которые пару лет назад поиздевались над великим городом, показав ему непристойность, изображенную ими же на подъемной части моста под руководством какого-то тщедушного мужичишки.

Дальше – больше.

Средь бела дня стали шествовать вдоль Фонтанки рогатые хэллоуинщики и долгое время стояло у Гостиного двора, выпучив безумные глаза на Невский проспект, хвостатое синее чудище.

А если поглубже посмотреть, то такая бездна откроется, что лучше и не заглядывать.

Санкт-Петербург

ОДУВАНЧИКИ

Вот и кончилось лето. Даже по утрам на спинах спящих во дворе машин — прозрачный, тускло сверкающий иней, нет, совсем не иней даже, — откуда ему тут взяться?

Не иней — манная крупа, нет, - манна небесная, осыпала тускло, неплотно, заснувшие до утра автомобили.

Я так хотела написать об этой начавшийся почти зимней осени!

Но не было ни ручки, ни сил. И сломался комп...

Я хотела рассказать о лете, которое прошло мимо меня, выбросило меня, просто вышвырнуло из своих чудных дней, вечеров и ночей, из своих рассветов у Фонтанки, как выбрасывает ненужную тряпку хорошая хозяйка: зачем лишнее в доме?

Прошло мимо меня. И даже не заметило этого.

Потому, что для всех дорогих мне лет, дождей, весен и зим, с их звездами и снегопадами, их зелеными бурями и солнечными затишьями я — всего лишь нахальный одуванчик, который, проклюнувшись из темного мрака земли, принялся неспешно и величаво окутываться в роскошное золотое одеяние, которое

только и могло появиться здесь — на верху, над землей.

…И вдруг он почувствовал, что теряет его, что превращается в прозрачный невесомый шар, нет, — пух, почти такой же легкий, как дыхание Спящей Красавицы, как крылышко стрекозы, как сон эльфа…

Лето выбросило меня. Оно обо мне даже не помнило.

И, махнув, легкой, как шепот, головой, он, как заправский авиалайнер, взмыл в небо и рассыпался на целый десант почти таких же прозрачных парашютистов.

А они, счастливые от шири пространства, отважно становились на крыло, не думая ни секунды — нужны ли они кому-то?

Видимо, эти маленькие земно-небесно-подземные существа на прозрачных своих парашютах, которых только по ветру и гоняет до первого препятствия, видимо, они мечтали добраться до самого солнца.

Ну, а почему нет?

Ведь они целую зиму не видели солнца. И имеют на него право уже по одной этой

несчастный причине, той, что пережили в темноте под землей целую черную зиму.

Они думали так и считали, что сам Бог обязан был помочь им увидеть солнце.

Наверное, будь они чуть-чуть иными, они бы никогда не думали что солнце кому-то чем-то обязано. А уж тем более Бог.

Кто знает, кто кому чем обязан? И уж точно никто никогда не полезет к Солнцу, если у них нет для этого специальной лестницы. Во всяком случае, почти никто.

Санкт-Петербург

СКИТ

Брату моему
Джерому Д. Сэлинджеру

Я всегда полагал, говорил он мне своим тихим, как шорох колосьев спелой ржи, голосом, что есть вещи, которые надо успеть написать самому.

Иначе явятся ничего не знающие, насочиняют такого, чего никогда не было и не могло быть.

Только я могу описать мой кабинет таким, каким он был и остается. И нет никого в мире, кто сделал бы это лучше.

Потому, что только я знаю, что это такое на самом деле.

— Что? — шепотом спрашиваю я, щурясь от солнца.

И для надежности надвигаю на лоб венок из белых ромашек, и он, как поля шляпки, которые я так люблю, защищает меня, чтобы я не ослепла от горячего света, который излучает не то ли солнце, не то ли сам брат мой великий сэр Джером Д. Сэлинджер.

— Возможно, Милая Леди, — задумчиво отвечает он. — Возможно, мой кабинет не стоил бы и секунды ничьего внимания, если бы не был тем, что есть я.

Повторить?

Он и я — одно целое.

После этого и писать не о чем.

Все сказано.

Но ведь ты-то поняла, а жена моего соседа с утра сегодня гоняется с тряпкой за горничной и кричит, что ничего не поняла. Словно от этого перевернется мир...

— А он может перевернуться? — спрашиваю я, рассматривая далекий горизонт.

— Пожалуй, вы правы, Маленькая Леди!

Он тоже смотрит на горизонт. Потом говорит:

— Поэтому, в принципе, мне предстоит написать автобиографию. Бррр.

Однажды я уже делал это.

Меня не поняли.

Может быть, они и были правы.

Я рассказал им в одном абзаце что значит быть писателем. Это исключало существование вообще писательских автобиографий.

Повторяю, меня просто не поняли. Они безжалостно выбросили текст.

Меня до сих пор корежит от этого жеста.

Никто не имеет права выбрасывать чужие тексты. Почему?

Да потому, что мой текст — мое дитя. Еще объяснить?

— Да, — сказала Маленькая Леди.

И добавила из вежливости:

— Если можно, сэр.

— Ну, тогда слушайте.

...Кабинет был огромен бесконечно. Как раз по мне. Здесь не было ничего лишнего, ничто не мешало и не давило.

Его глубина тонула всегда в полумраке и лишь мой любимый стол был слегка освещен. Не знаю, чем и откуда.

Да это и не так важно.

Я за ним почти никогда не работал.

Возможно, найдется кто-то, кто ухмыльнется, услышав это сочетание: «писатель» и «работа».

А между тем, только оно и справедливо. Все остальное — не работа.

Полумрак всегда обнимал меня со всех сторон, я переставал ощущать границы, сливаясь с ним, где было все, о чем мне когда-то рассказали, или что я обнаружил сам…

Сколько вечностей прошло с тех пор?

Не знаю.

Сегодня мне в это тихое утро сентября 2015 года предстоит написать автобиографию.

И я катастрофически безнадежно понимаю, что то, что я могу вместить в нее, никто читать не захочет.

Да и можно ли упаковать в одно лукошко все свое я?

И сногсшибательные невероятные фигуры космодрома Наска, которые так гениально зарисовал великий художник из Перу.

Он подарил человечеству кусочек счастья любоваться ими.

Потому, что сделал это гениально и, представляю, какой гигантский архив аэросъемок наверняка переворошил, потому, что иначе, чем с высоты, загадочный космодром не виден.

А ведь на нем нанесены все созвездия Зодиака!

Ты можешь бродить по ним и никогда не увидеть. Потому, что они видны только из космоса, только с высоты, на которой летают уже давно наши самолеты.

Этот космодром всегда был частью меня.

И неожиданный вброс солнца из джунглей, и синие горы вдали, так далеко, что я принимаю их за Джугджур.

Да, он всегда был космически бездоннен этот его кабинет.

Только со временем света в нем убывало, а не рассказанного оставалось все больше.

Мой брат Сэлинджер! Знаешь ли ты, как мы все вздрогнули, узнав о твоем уединении?

По-русски ты ушел в скит.

А русские всегда правы, когда речь идет о таком.

Мы поняли.

Но все-таки ждали. Терпеливо ждали. Ты знаешь это.

Моя золотая макушка все еще торчала, украшенная венком из васильков и одуванчиков, среди золотых колосьев ржи, а ты уже тогда уходил, разрастаясь, как космические фигуры Перуанского плоскогорья Наска, уже тогда становился писателем, а мы все еще заливались беззаботным смехом над пропастью жизни.

Великий Кобо Абэ - страшный неотвратимостью своих предсказаний, Ясунари Такубоку — чужая странная культура чужой расы, задевающая — непонятно как — подробностями типа запахов пота, волосатой родинки на груди и вечно мокрым снегом в горах, не просыхающей почти всю зиму обуви...

И пески... Кто не хоронил там, тому не понять.

И слава Богу.

Древний Пророк из забавного сборника мудростей, собранных по всему свету ленивыми пройдохами-ростовщиками, сказал как-то:

— Есть время любить,

И есть время уклоняться от объятий.

Добавлю к ветхой, но мало кем усвоенной истине:

— Человеку на земле дано два возраста: возраст свободы и возраст определенности.

Возраст свободы называют еще возрастом ангела, и он дается человеку дважды.

Щедро, правда? В начале и в конце...

Ты помнишь, когда стихи шли на меня волной — успевай записывай! — мой убогий учитель вдруг обнаружил, что одни из них написаны словно бы женской рукой, а другие — мужской...

Истерика была отменной.

Он ничего не знал о времени ангелов.

Это великое время, когда человек чувствует себя равным Отцу, когда он принадлежит вселенной и не знает дискретности времени, разницы полов и ощущает свою бесконечность.

Возраст ангела.

В начале пути. И в конце.

Он ничего не понимал в стихах, этот учитель. Во всяком случае, меньше, чем твоя кухарка, которая, готовя поминальный ужин по тебе, отвесила подвыпившему по случаю джентльмену:

— Не дело тебе, старый, ко мне под юбку лезть, когда дети уже переженились. Нянчиться готовься, а то ишь, взыграло.

Грубо, но верно. Всем бы помнить.

«…Есть время любить
И есть время
уклоняться от объятий…»

…Темнеет, уходит в звездную бесконечность твой Кабинет. И уже я, вслед за тобой, подумываю о ските.

5 сентября 2015 г. в 02:16
Санкт-Петербург

НОЧНЫЕ ПРОГУЛКИ

Лене ЕФИМОВОЙ

Сначала — всю ночь — а, впрочем, какая ночь? — они давно смешались с дремой, полуявью, — нет, снег, снег, — снегопад: метельный, мягкий, из которых платья шьют — при чем здесь платья, нет-нет, конечно же, хлопья.

Огромные снежные хлопья на ресницы, лицо — чье лицо? — не мое же, нет! Нет-нет, опять не то...

Сверху — на черные ели, на сосны, на всю эту крученую — то есть, не по мне сшитую, внешне не мою вовсе жизнь, падают хлопья. Кто-то в них тонет.

Кто? Не знаю.

И – взрыв.

Разметав все снежное и не мое: ˝Валера!˝

Только одна Женщина в мире произносит так это имя. ˝Валера˝.

Инфантильно и очень взросло. Лена.

Имя? Человек? Стихи? Судьба?

Судьба-снегопад, где Нева и львы, и леса Вырицы, и Рига.

Да, она. Рига.

... И было межсезонье. И заревела бы, и закричала бы, налила бы водки в стакан и помянула бы все это сразу.

Но нет. Не умею. Не научилась.

Ни пить, ни поминать.

Сколько их пришло в церковь, а потом к могиле? Человек сто пятьдесят, быть может, двести. В основном, мужчины.

Не считала. Не понимала, зачем. Собрала водку у мужчин, сунула шоферу катафалка:

— Ты чего здесь застрял? Уезжай!

Забыла, что полагается — и стаканы, и водка. И на могилу. То же. И кусочек хлеба.

Но при чем тут я? Я же здесь, так, мимолетом.

И серое небо межсезонья.

Вот оно, это слово!

Я стала бояться слов. Бояться, что они кончатся, что во мне иссякнет их вкус, что если повторю, — потеряю...

Но придет Белый Верблюжонок, отгонит смерть, заставит писать, хотя, по всем поверьям, все должно быть наоборот.

Смешалось.
Металла хватило,
иль горя — избыток:
из чана — горстями...

Какой же я металл? Хлопья белые...

Вот уже сугробы — живые, подвижные, каштаново-рябиновые. Рябиновые гроздья в Аничковом саду прошлой осенью, куда привел нас старый ворон Карлуша, чей хозяин — сосед из дома напротив – умер уже лет 12 назад.

Мы не были знакомы. Я и разговаривала-то с ним раза два. Утром у Фонтанки.

Он предсмертно-худой сидел на гранитной ступени рядом с белобрысым парнишкой, и

они ловили рыбу на тонкие паутинки, а я спросила:

— Жарить?

Он улыбнулся — широко, ясно, словно и не собирался через пару дней уйти от всех нас:

— Ну, что Вы! Кошкам.

И в это время резко раскатисто прокричал, низко пролетая над нами, тот самый его Ворон, которого он отобрал когда-то у кошек полуживым птенцом и выходил.

Рябина. Ворон привел нас в сад к рябине в прошлом октябре...

Она так любила рябину! Лена. Они оба.

Да, Лена и он, ее поэт и их жизнь, вдруг оборванная.

Всю ночь я, невидимая, ходила по ней, их жизни, — Боже, как она коротка человеческая жизнь! — ночи хватило.

Всю ночь...

И опять страх, опять слово — ночь, которой нигде не было, как межсезонья, и тот же страх потерять вкус слова.

...Когда его убили, я перестала записывать стихи.

Они приходили поначалу привычно, целыми циклами, застав меня Бог знает, когда и где.

В троллейбусе, в редакционном буфете, над кастрюлей булькающего борща — успеть, скоро ужин. Глупость. Я всегда успевала.

Быть может, поэтому пропустила столько долгих знакомств с людьми, живущими теперь только в моей и чьей-то еще памяти? Редакционное задание — это как военное. Так нас учили.

Выполнено — все, бегу дальше.

Однажды тебя останавливают, а я на сотом этаже подвала совершенного мозга своего держу подленькое: это же интервью, очерк — что там еще по газетным жанрам? — все! Написано, сдано, опубликовано.

Какие могут быть:

— Привет! Как я тебе рад! А я вот снова к вам, в горы...

— Привет!

И уже бегу мимо, дальше, закутываясь в долгий прозрачный шлейф — мне вслед дымящийся — изумленный синий взгляд Юры Визбора, неуверенная улыбка — ошибся?! — скручиваю невидимую нить в драгоценный клубок, чтобы отложить в свою ненасытную память всегда пишущего существа и тут же забыть взгляд-шлейф, так и оставшийся в веках шлейфом-шарфом, задушившим Айседору...

Забыть до времени.

Наверное, все правда — и хлопья снега, и неслышимый ветер — кто знает?

И рябина…

И чужая жизнь длиной в мою ночь.

«Пиши иль не пиши,
на вкус ли пробуй
Заветные слова,
ночной любовный вздор,
А жизнь себе идет
проторенной дорогой,
Сметая по краям бумажный сор.

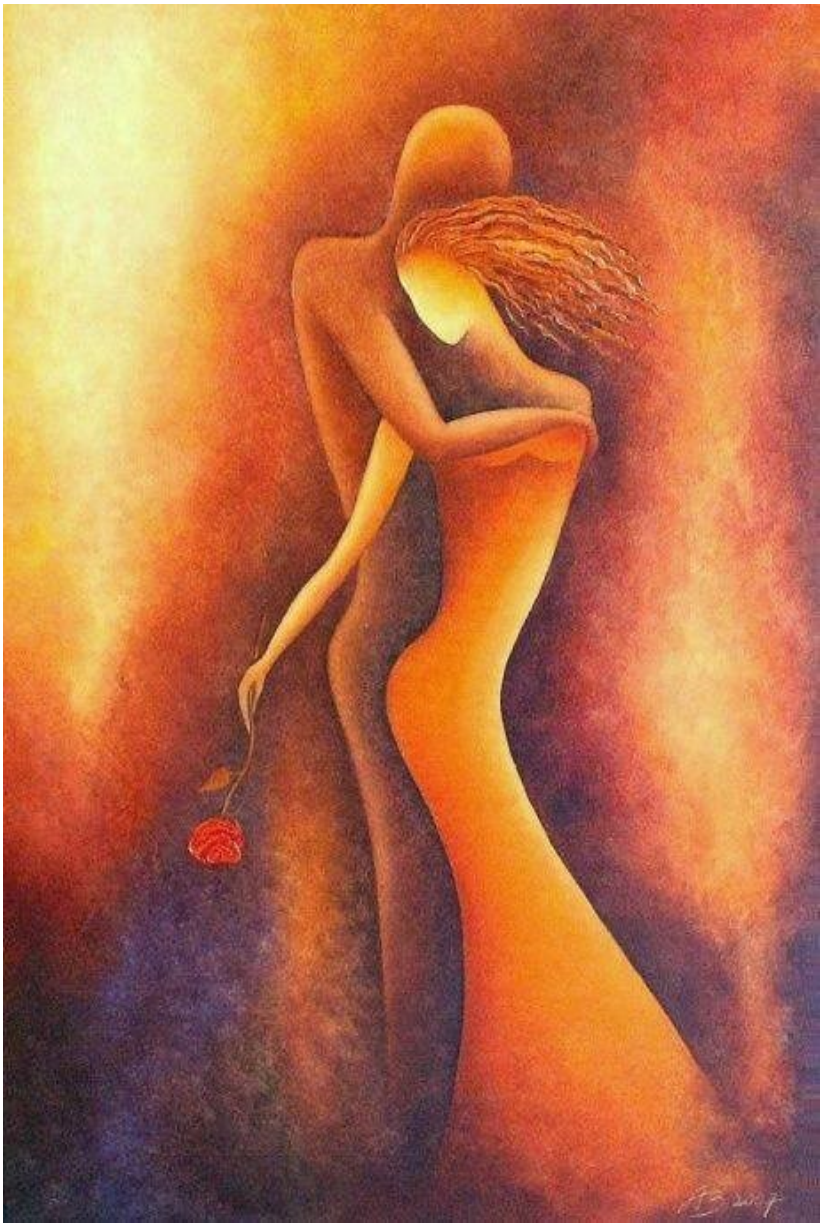
Но двадцать лет спустя,
обрушив с антресолей,
Бумаги желтой ворох рассыпной,
Проглотишь жадно без воды и соли
Прожитой жизни
черствый хлеб ржаной.

И каждое горячечное слово,
Врастающее в лист скупой строкой,
Былой любовью оживит нас снова,
И смыслом жизни снизойдет покой.»

Валерий Мошев

Да, это он. Ее Валера.

23 сентября, 10:25
Санкт-Петербург



(Рис. From Jorge Molina)

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ

До 7 утра — несколько минут. Не знаю, когда обрушился на Петербург странный, холодный дождь, но и сейчас он плещет, всхлипывает, бормочет о чем-то за моим окном.

Из радиоприемника булькает, плохо владеющая русским языком хазарянка.

Что-то про варваров, солдата, погибшего в Сирии, Римскую империю, потерянных иудеями пару тысячелетий назад тоннах золота.

А. ведь, как хорошо прятали! — сокрушается горько, демонстрируя полное знание вопроса, называет адреса домов и мест золотых схронов, и тут же, без пауз, как жесткий дождь, хлещущий наш Город ледяными кнутами, — про окружение Путина, про то, как толкают Египет в ИГИЛ, устраивая крушение русского самолета, про мусульманские Мальдивы…

Булькает, пузырится, внушает, закручивает в путаницу кривых слов, как в удавку чьи-то слабые мозги…

Зачем ей это? Зачем она нам? Шла бы себе своей дорогой, отлипла бы от России…

Нет, не дается…

В Вашингтонской гостиничке скончался некто Лесин, кажется, один из кураторов каких-то СМИ. Думалось, с кончиной этой исчезнут из русского эфира и всяческие русофобские эхо. Нет, не случилось.

— С колдовством на Мальдивах большая проблема, — сообщает хазарянка в это время, и я ее вырубаю.

Тишина…

И за окном стихло. Не верится. Подхожу к окну, приоткрываю штору.

И точно! Нежная, не скребущая уши, охранная тишина окутала дома у Фонтанки, на Невском проспекте…

И над всем этим нашим горестным раем — предрассветное лимонное небо.

Добро утро, православные! Доброе утро! А день — для панихиды. Сегодня 9-й день с того дня…

И вылетел в Санкт-Петербург четвертый борт МЧС с останками погибших в небе над Синаем.

15 сентября 2015, Санкт-Петербург

ЖРЕБИЙ

…А песок на заливе обманчиво-желт. И холодные ночи в него закопались. Им-то что! Они к снегу готовы.

…и выпал мне жребий одно выбирать: жить долго, остаться смешливой и быстрой, или, скорчась от боли, бедой же писать, обжигая ею душу огнем негасимым…

И второе я выбрала. И счастьем звала. Потому, что по жребию был и подарок: отказавшись от жизни, вернуть навсегда человека, которого в землю забрали.

И шепнули: с лукавыми бой предстоит. Победишь - сын вернется. А нет — пропадешь с ним.

Смеялась я:

— С лукавыми, говоришь?

И не знала я старооте́ческой истины: одного собьешь, на его место шесть встанут… Не знала. Оттого и молилась за меня каждый день матушка Серафима Петербуржская, а с нею, поминала и матушка Серафима из Тбилиси, знавшие, с кем схватилась…

Может быть, только потому и жива я еще, только потому и обет свой страшный держу и выпавший мне по великому благословению непереносимый жребий…

Санкт-Петербург

КАНУНЫ

Время рванулось, закрутилось волчком, воплями содомитов потрясло стены русских церквей, метнуло огненной пращой по глазам, взорвало слух.

И узнали, и услышали, и поняли.

И возопили: детей продаююют!

Иноземцы детей наших вывозят!

Эшелонами торговля-то да контейнерами!

Рожденных и еще не рожденных — всех закупают!..

Стволовыми клетками их называют и за счет силы их крови собираются жить долго, а лучше бы вечно.

Не дай Бог человеку родиться в такую эпоху...

Слова все реже звучат во мне, все реже. Не остави меня, Боже милостивый, не подведи. Я устою, вынесу. Допишу.

Кануны.

Земля беременна последней войной.

КУНСТКАМЕРА И РЯБИНЫ

Пригласили нас сегодня в Кунсткамеру съездить. Ну почему бы нет, решили мы, и пошли на троллейбус. Так, чтобы успеть к назначенному времени.

От нас до Кунсткамеры всего ничего: Неву переехать, и все. Ты на месте.

˝Заодно, – говорю я, – и к Alma Mater в гости забежим. Давно не были!˝

Отправились, да вот беда – то ли черт попутал, то ли Ангел отвел, – решили мы дорогу к троллейбусу срезать и пошли через Вторую сцену Александринки, вдоль Катькин-Садика пару шагов сделали... И замерли.

Десяток тихих дворников сдували какими-то агрегатами нежнейшую опавшую листву, собирали в груды...

И вмиг становилось под деревьями стерильно чисто, словно, простите, кастрировали наш листопад еще до созревания.

А ближе к вечеру груды эти, светящиеся ярче солнца, засунут в мешки и вывезут. Осень нашу в мешках вывезут. Листопады...

Пошла я по газонам и насобирала ворох кленовых листьев лимонного цвета.

Прилетел Карлуша. Он всегда с нами летает – боится за нас, что ли.

Присядет на самый высокий карниз, гаркнет и смотрит вниз на нас и машины.

Курлыкнет иногда: здесь, мол, я. И опять смотрит – где мы?

А сегодня утром привел к уткам голодным на Фонтанке.

Утки худенькие, отощавшие. После перелета, наверное. А у нас даже крошек не было…

Он с нами на разные голоса общается.

Когда спилили каштан все грозно так кричал. И тревожно.

А тут – слава Богу! – посадили новенький. Тоненький, этажа до второго едва достает… И сирени – крохотные, но все же сирени! Старики не нарадуются. Молодые заулыбались вдруг. Красивые такие все. А Карлуша каждый день прилетает, инспектирует…

В общем, жизнь потихоньку налаживается.

А тут Кунсткамера!

Забыли мы о ней совсем. Ходим по Аничкову саду – не налюбуемся.

Все некогда было, все бегом, все мимо…

Так вот, Карлуша опустился на газон и зовет. Тихонько так подзывает.

Пошла я к нему. Смотрю, в траве ягоды видимо-невидимо. Да сочная, красная какая-то. И стайка голубей присела было, поклевала и улетела.

Сижу на газоне, смотрю на Карлушу. А он ягоду-то эту клевать начал, а сам на нас поглядывает: ешьте, мол. Ешьте, ягоды-то! До сих пор вы меня угощали, а теперь и я вас угощу.

Я голову подняла, а надо мной рябиновые гроздья. Да такие, каких я в жизни не видала!

– Долгой, видимо, осень нынче будет, – задумчиво сказал Серж. – Долгой и дождливой.

И забыли мы про Кунсткамеру посреди этой красоты. И не заметили, как дворники куда-то все испарились.

Один Карлуша с нами остался. Сидит в стороне, поглядывает на нас: поняли мы, зачем сюда нас созвал, или нет? Но мы и про него совсем забыли.

И все глядели мы на осень, которая не то сама к нам пришла, не то Старый Ворон решил порадовать нас красотой осенней, да заодно и угостить...

Санкт-Петербург, осень

УТРО

И вычислили за нас сроки, и пустили перед народом стадо вожаков рогатых, но за спинами не видно последним – кто, куда, зачем?

А первые уже не ответят, куда смотрели, коль на бойню вели?..

И кто-то читал стихи про янычар с кривыми ятаганами, рвущихся к русской станице, и девушке, которая, обжигаясь, лила им на голову горящую смолу, потому что, кроме нее, живых не осталось...

И вспомнилось мне привидевшееся в полуночи у Приоратского Замка далеко внизу, за черным озером мерцающее огнями странное, явно татарское, становище...

Вот, привиделось же. Задолго до того, как дикие янычары расстреляли в воздухе Сирии русского летчика.

А в это время над подмороженным ночным холодком Санкт-Петербургом свободно, сквозь времена и непостижимые расстояния лился волшебный бессмертный голос Елены Образцовой: **«У любви, как у пташки крылья...»**

И ПРЯЛА СЕСТРИЦА ПРЯЖУ БЕЛЫМИ РУКАМИ ДА ИЗ ЗЕЛЕНОЙ КРАПИВЫ...

День прошел. И работы было, как всегда.

Иногда я чувствую себя Сестрицей, плетущей бесконечную пряжу из свежей крапивы, для рубах, которые спасут Братьев от злых чар.

И онемели руки, и вспухли от ожогов, а остановиться нельзя. Без пряжи-то моей горючей все погибнут. Никто не вернется...

«СОНЕТ О ГОРОДЕ»

1. ГРИБНИЦА КОРОТИЧА

Странная нынешняя зима, задумчивая и тревожная, обходила Санкт-Петербург всем, что могло бы усложнить и без того непростую жизнь.

Вьюги, рвавшие провода, рушившие деревья, оставлявшие без тепла и света, обходили Город по кругу, словно прикрыл его кто-то великий ладошками, перед которыми все – бессильно, все – детская игрушка.

И даже февраль, слегка качнув туманами, вдруг выбрасывает нам в подарок нещедрое солнце, тихое и нежное.

Говорят, все впереди. И холода, и метели.

Возможно. Но какое это имеет значение, если впереди масленица и до нее рукой подать.

Вьюжные феврали. Непредсказуемые мартовские наледи, страшный апрель…

Рано говорить о зиме, пока не прожито это. Рано.

… Солнце весь день. Загорать можно. Сидим на краешке зимы, ноги в холоде, макушки – в солнце. Смеемся.

Отчего? Да просто так. От того, что солнце. От того, что конец зимы недалеко. От того, что

живы. Хохочем. Бывает. Нечасто, правда. А до перестройки бегали и светились, как солнышко.

Просто от того, что знаешь, для чего живешь. И от того, что плохих людей не бывает. И все мы – единый народ, независимо от разреза глаз и цвета кожи.

А потом стало все круто меняться.

По редакционным кабинетам Дома печати ядовитыми поганками стал прорастать грибок Коротича.

Жанна подсовывала мне эту отраву. Каждую неделю – новая порция.

Я смеялась:

– Вы снова забыли, что я «Огоньков» не читаю!

– А Вы, Оленька, почитайте, почитайте.

И уходила.

Самая красивая женщина «Советской Литвы».

И самая умная.

Зря не посоветует.

А я даже не пролистывала эту дрянь. Потому, что, заглянув однажды, наткнулась на ложь.

Грязную, как матерщина.

С той поры даже не прикасалась.

А ядовитая грибница опутывала Вильнюс, разрасталась по всей Литве…

Я и не знала об этом. Наверное, потому, что враки Коротича со товарищи не читала.

Брезговала.

И поплатилась, конечно.

Бывает так с людьми пишущими. Когда много пишешь, читаешь жестко выборочно.

Мозги должны быть чистыми. Потому я не верю людям, сыплющим цитаты. Есть такие субъекты.

Не человек, а гвоздик, на который бумажки с чужими мыслями нанизаны и колышутся, как паруса в тазу на щепках.

Так мы в детстве зимой в море играли.

Но никто не забывал, что море в таз не поместишь.

Но поняла я это – не поверите! – совсем недавно.

Когда окружила меня грибницей Либеральная наша околокультурная Жандармерия, да потом вдруг вся отсохла.

Перегрелась, видимо.

Но помучить помучила.

А, ведь, были и другие времена.

И другие нравы.

И кто докажет мне, что время – река, в которую нельзя войти дважды?

2. «ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ»

…Было то время года, когда темнеет так рано, что чуть задержишься после лекций, как даже лед на Неве кажется черным, а Эрмитаж за Дворцовым мостом только угадывается темной громадой.

И лишь небо над Ленинградом чуть-чуть подсвечено ушедшим за горизонт невидимым солнцем.

Ехать мне было недалеко, на Невском – пересадка.

И вот, стою я, нагруженная по уши книгами и конспектами, напротив «Восточных сладостей» и жду своего автобуса.

Люди, машины, троллейбусы, автобусы – не мои – все мимо, мимо. А я, невидимая в темноте, – воплощенное терпение: надо ждать. А нужного автобуса все нет и нет.

В доме напротив, где продаются восточные сладости, – ах, Боже мой, какая вожделенная вкуснятина! – вспыхивают окна, и от этого он становится все ярче и уютнее.

– Оленька! А ты как здесь?

Поворачиваюсь на голос, и захватывает меня детская радость, от того, что вижу я не просто знакомого мне человека, а того, с кем связано и недавнее интервью для любимой газеты, и героическая моя подружка Светланка Бара-

нова, единственная из женщин-журналистов ходившая на атомном ледоколе к Северному полюсу, а за несколько лет до этого вместе со своей сестрой Татьяной изучавшая азы поэзии и журналистики у этого самого человека, который стоит сейчас передо мной, чуть склонившись, как вопросительный знак.

И имя этого человека – Илья Олегович Фоняков.

– Я-то домой еду из университета, – отвечаю весело-изумленно. – А Вы-то как здесь?

И тут же чувствую, что вопрос мой звучит странно.

Потому, что знаю, что Фонякова жизнь спаяла с этим городом навечно и блокадным детством с его детским садиком, где, как и все другие мальчишки и девчонки, которых не успели эвакуировать из Ленинграда, Илюша Фоняков огрызками цветных карандашиков рисовал самолеты в небе, танки с красными звездами, стреляющие во врага… Горящие черно-алым пламенем подбитые немецкие машины, черные на белом снегу трупы оккупантов…

Они все рисовали войну.

И это было естественно, потому что война накрыла великий русский город черным колпаком.

Но не убила.

Вместе со всеми еще живыми ленинградцами – детьми и взрослыми – Илюша Фоняков,

наш Илья Олегович, смотрел малолетним дитятей на воздушные бои в небе над Ленинградом, ходил вдоль руин, оставшихся от домов после немецкой бомбежки, вдоль замороженных, обернутых в белое «поленниц» умерших и убитых, ждущих весны, когда специальные команды аккуратно соберут и похоронят всех в братских могилах Пискаревского кладбища.

И это будет весной, когда чуть-чуть оттает земля.

Но они не это рисовали.

На рисунках детей блокады всегда солнечно отражалась будущая победа. Победа Красной Армии над немцами…

– А я к маме, – сказал Илья Олегович. – Она вот здесь живет, в этом доме.

И он указал на дом с «Восточными сладостями», в котором уже светились почти все окна.

– Как?! Ваша мама живет в «Восточных сладостях»?

Он засмеялся:

– Да, только чуть-чуть повыше, вон, те окна.

– Здорово! – сказала я. – Это такое счастье жить прямо над восточными сладостями!

Илья Олегович негромко засмеялся и через паузу сказал:

— Только увожу я ее отсюда. Перевели меня из Новосибирска сюда, и мы решили объединить квартиры – нашу и мамину.

— А газета?

— Все также. Только теперь я буду собкором «Литературки» не по Сибири, а по Северо-Западу…

И чувствовалось, что счастлив он от возвращения в любимый город, и от того, что журналистская жизнь, на годы разделившая его с родным человеком, смилостивовшись, объединяет их снова.

— А книги? Стихи, переводы?

Он опять засмеялся. И мягко добавил:

— Разве от этого уйдешь? Ты ведь по себе знаешь, Оленька. Вот, сдал в издательство книжечку стихов – переводы с персидского.

– Восточные сладости! – смеюсь я. Дадите почитать?

– Обязательно, – говорит он, а я вижу, что подошел мой долгожданный автобус, и мне пора.

— До встречи! – кричу я на бегу к распахнутым уже дверцам автобуса. – До встречи!

Дверцы захлопнулись.

Я прильнула к окну, глядя как тает в темноте, как сливается с ней фигура человека, с которым были связаны стихи, газеты, города, – журналистское наше братство.

А автобус, плывший по темному Невскому, как гигантский освещенный изнутри аквариум, увозил меня на годы и годы...

Но тогда никто ничего не знал.

А потом началась перестройка, которую сразу же с горечью окрестили у нас, в Вильнюсе, перестрелкой, и русским пришлось уходить поближе к родным гнездам.

...Я нашла Фонякова в Шереметьевском дворце на Шпалерной улице, где тогда располагался еще не сожженный злой ли волей, или не волей, Союз писателей, его Ленинградское отделение.

И жив был еще его основатель, удивительнейший мой старый друг Анатолий Ефимович Горелов...

Я никогда не соглашусь с тем, что их нет, что они ушли...

Потому, что есть в человеке творческом то, что не позволяет ему умереть.

И это, бессмертное, остается здесь, на земле, с нами:

СОНЕТ О ГОРОДЕ

Санкт-Петербург,
а по-простому — Питер,
А если сокращенно — СПБ:
Сегодня снова тройка этих литер
К твоей приштемпелевана судьбе.

Выхватывает память, как «юпитер»,
Фронтон, портал, афишу на столбе,
Обшлаг лицейский,
Блока черный свитер,
Мандат ЧК, повестку КГБ,
Мозаику на улице старинной –
Большой Зелениной,
кривой и длинной,
На высоте шестого этажа,
Флажки на реях флотского парада,
Медаль «За оборону Ленинграда»
На грязной куртке старого бомжа.

Илья ФОНЯКОВ,
1995

ХАНДРА

Утром наползает Хандра. Тяжелая, лохматая. Заливает всю комнату, как осадок донного ила, утрамбовывает все, ни о чем не думая, никого не жалея.

– Зачем жить? – спрашивает у кого-то, кто внутри меня, кто вчера обнаружил, что вместо святочного рассказа едва обозначился тонко звенящей радостью сюжет.

А рассказ не родился.

– Зачем жить? – гнусаво вопрошает Хандра.

И правда, зачем?

– Не тебе решать, – говорю ей, не произнося ни слова. – И не с тобой разговоры разговаривать.

Надо сделать все, как всегда – поставить на сломанную плиту старый чайник, приготовить ванну, заварить крошечную чашечку кофе.

Главное – подняться, не зажигая света, чтобы не беспокоить Собаку, и сделать все, как всегда.

Но свет зажжен. Собака, Леди наша, проснулась и сказала:

— Ты перестала меня лечить. Почему?

Я молчу. Я не могу ей это повторять, я уже говорила ей, что кончились лекарства и нельзя жить на антибиотиках и дурных витаминах, которые даже не задерживаются в организме.

Я отмолчалась. Собака всхлипнула, сделала все сама: поднялась, понюхала миску с заледеневшей за ночь водой, легла на свою подушку и, снова тихо всхлипнула.

У нее болит задняя лапа, а врач посоветовал почаще гладить ее от ушей до хвоста, вдоль позвоночника.

Кажется, она взяла себе мою травму.

Так делают все далматины. За это их любят францисканские монахи.

Из-за нас она уже вся в черных пятнышках, Изумрудная Леди из Созвездия Югаль…

Эти черные круглые пятна на ее белой мантии – ожоги от наших недугов. Так объяснила врач и запретила говорить при Леди о болячках.

Наверное, нам это не удается. В доме всегда – то кто-то простыл, то начал кашлять, то подвихнул руку, то бедро, то перетренировался, то недо...

Перед тем как заснуть, Леди ворчит:

– Ты думаешь, что это – возраст. Возраст – не болезнь, ясно? Поэтому надо жить. Иди. Я хочу кофе. Много сливок не лей. И закажи в аптеке мои лекарства!

Ну, что ж. Я пошла, Леди. Мне повторять не надо.

Моя Изумрудная Леди из "Созвездия Югаль"
Фото — Серж ТАЛАЛАЕВ

ЖЕМЧУЖИНКИ

Не мечите бисер перед свиньями

Сколько мы видели наводнений?

Не по слухам, а видели своими глазами?

Или, хотя бы последствия их.

Неземное безумное чудовище однажды нападает на человеческое жилье и пережевывает его нечеловеческой злобой и силой.

Я вот думаю: писатели, поэты… Нет. Жемчужинки в короне России. Вот, если бы он не написал:

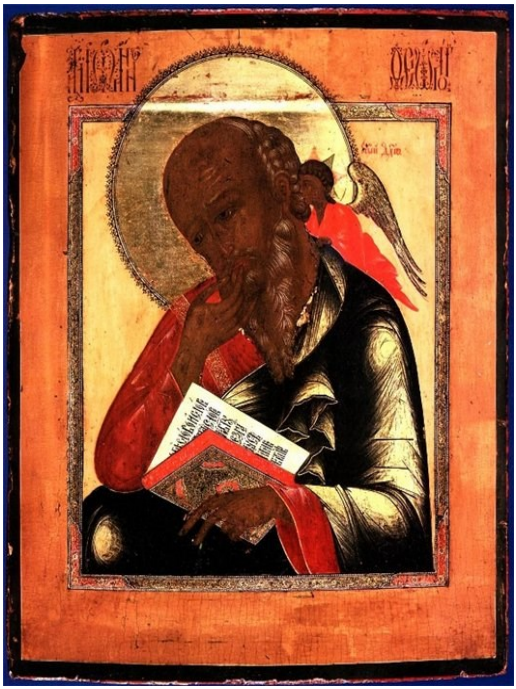
…Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова,

Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервеняясь,
На город кинулась…
— то что бы мы знали об этом?

А самое страшное для народа это забыть.

Да, забыть.

И как бы вас ни мучили, как бы вас ни били, насколько бы не замечали, будто вы пылинки дорожной мельче, а уж если не так, если уж



не заметить, то хоть поживиться, ободрать этих пишущих дурачков до нитки, чтобы капнуть себе в тарелку борща капельку «Шанель»...

Коллеги мои по неотвратимому оброку Нестора! Нам всегда трудно. И даже когда нас не будет, то не всех вспомнят, а иных и затоптать постараются еще больше, чем при жизни.

Но вы никогда не отчаивайтесь.

Потому, что нет у времен края, и никому, кроме Бога и вас, не дано знать, *что* есть и *что* будет.

И посмотрите-ка на иконку — кто там в ушко книжнику нашептывает и какие истины?

Вот, о чем всегда бы помнить...

А НОЧЬЮ ШЕЛ ДОЖДЬ...

Темно. Так темно, что кажется, само утро еще спит. Выглянула в окно – плитки двора черны и влажны – видимо, дождь прошел.

То-то спалось нынче, как на облачке. Или где-нибудь в Саянах, чуть выше 3 тысяч метров, где уже нет ни комаров, ни прочей таёжной гнуси, а трава зелена, как в Альпийских лугах. До одурения.

И воздух напоён такими лесными настоями, какие только и бывают в горах на высоте, где лес уже позади, а до заснеженных гольцов еще добрая пара километров.

А всего-то – дождь ночью прошел.

Омыл декабрьский спящий Санкт-Петербург, освежил всё ещё зелёные газоны. И задышал Великий Город свежестью далеких лесов и не загубленных глупыми людьми дворцовых парков.

Так же, как в то давнее летнее утро, когда жив был еще зеленый наш Владим Петрович. А я всё улыбалась, погруженная в свое горе, никого вокруг не видя и не вычленяя из общей шевелящейся биомассы, потому, что всё ждала и ждала одного-единственного из тысяч и тысяч. А вдруг!...

А вдруг распахнется дверь и, войдет сын – красивый, загорелый, сверкающий, то ли от то-

го, что любил море, как мало, кто, то ли от счастья, которое всегда в нем огоньком светилось....

Я всё ждала, что он войдет и окликнет меня:

– Здравствуй, Ма! Вот, я и дома...

И годы шли, и дни и месяцы.

Однажды, правда, кто-то позвонил. Было около часу ночи. И сказал голосом сына:

– Здравствуй, Ма!

Я трубку сжала, слова сказать не могу, в голос вслушиваюсь... Ни жива, ни мертва.

А он говорит:

– Ма, ты что, Ма? Это же я, Ма!.

Словно из омута рыбиной раненной, от дна ямы ледяной – ногами неживыми оттолкнувшись, – вынырнула.

– Ошиблись, – говорю голосом, каким никогда ни с кем не говорила прежде.

Замороженным, ледяным, отталкивающим - медленным мертвым голосом - солнечному веселому неповторимому: «Здравствуй, Ма! Это я!» говорю, как гвозди в гроб заколачиваю:

– Вы ошиблись...

И, себя не слыша, знаешь, так провода гудят, - где-то высоко и прислушаться надо, чтобы гул этот услышать, - медленно произношу:

– Успокойтесь. Наберите правильно номер...

А у самой губы как бы занемели, не движутся, и каждое слово моё - не моё:

– Всё у Вас будет хорошо. Не волнуйтесь и не спешите только...

– Ма, ты что?!

Родной неповторимый голос! Неповторимый.... Больше я не могла.

– Вы ошиблись, – повторила я. - Моего сына убили.

И положила трубку.

И ушла в самую дальнюю комнату, туда, где телефонный звонок не слышен. Села на диван, зарылась в свитер – руки, ноги, голову... Такой вместительный оказался он, мой свитер! И стала ждать.

– Джюниор, Джюниор! Младший! – позвала, перевернувшись вниз головой на ветке, зеленая птица по имени Кирилл Владимирович, посмотрела на меня небесно-голубыми глазами, отороченными оранжевыми ресницами.

– Нет, Кирилл Владимирович. Просто ошиблись номером,- сказала я и закрыла глаза.

Он все еще вопросительно смотрел на меня.

– Ошиблись, – повторила я.

Санкт-Петербург

КОГДА-ТО У НАС, НА ФОНТАНКЕ 55...

Двор был страннен и пуст. Люди пробегали от трех редких подъездов по дну его к арке, древней и глубокой, выныривали через нее к чистой светлой Фонтанке, о которой стали как-то поговаривать: что-то ясна больно! Не случиться бы беде какой...

Но в беду никто верить не хотел, да и как тут поверишь, коли бегал по двору юный совсем Захария, тут же появлялся суровый Иван, а в поднебесье, в мансарде над последними этажами, бытовала сама Елисавета, всегда прятавшая от ветеринарных служб полуживых кошек и собак.

Были они у нее тихи и послушны, пока не отлечит да не откормит да не раздаст добрым людям в добрые руки. Она их по объявлениям в бесплатных газетках находила.

Был у Елисаветы сынишка. Хорошенький, как ангел. Такой хорошенький да славный, что и имени его никто сейчас не помнит.

Так и звали: ангел наш...

Иван-то, говорили, не то дворник, не то нет.

Похоже, дворником он никогда и не был, но знал все про все. И умел тоже все.

Жил на самом дне, дрессировать умел любую собаку – то кнутом, то пряником – так сам

говорил. А как не поверишь, коли роскошный его доберман, пес благороднейших кровей, рос не по дням, а по часам, тонкой талии своей никогда не терял и на вид был грозен, как лев, а по делу – нежен и ласков, как котенок. Даже на Ивана не поглядывал. И так знал, что можно, а что нельзя.

– Только за волка, – говорит Иван. – Никогда бы не взялся. Волк – не собака.

Мне бы запомнить это. А я тогда мимо ушей пропустила. И плохо это кончилось.

Но об этом позже. Знали бы все наперед, а? Но не в сказке живем. В России...

Иван был быстрый, жилистый – вот, стоит, и уже – нет! Нырнул в свою длинную черную машину и улетел неслышно, словно никогда его тут и рядом не было.

Чем жил? Кто его знает. Было это в 90-е, а кто знает, чем мы все тогда жили, да как выжили!

Дружил он с толстой Люськой, которая целым днями ловила на подоконнике солнце своей широкой грудью, и немец, молодой, ухоженный с животиком, снявший квартиру в стене напротив Люськи, нередко поднимался по потайной лесенке вверх, чтобы оттуда полюбоваться Люськиными прелестями.

А ей и не жалко.

Лежит ее грудь на подоконнике, глаза зажмуренные на солнце уставились, и до того хо-

рошо и от того, что даже широкому Люськиному заду немного солнца достается. А что человеку, живущему в старинном ленинградском колодце дома 55 на Фонтанке, еще для счастья надо?

А немец? Что – немец? На то они и немцы, чтобы их не замечать.

Раз в день, или к вечерку поближе, а иногда так и с утра набегали на дно 55-го дома ребятишки со всех ближних дворов.

Глазели на всегда закрытые, как замурованные, вековые каретные двери, играли с собаками Ивана – а их у него три собралось к тому времени: одного Захарка подобрал, а третьего они посреди Фонтанки зимой на льду нашли.

Думали, рукавичка черная валяется, оброненная кем-то. Подобрали, а она уже совсем замерзала, Рукавичка-то.

Велики ледяные пространства Фонтанки для щенка новорожденного…

Подобрали.

Ожила, закудрявилась, словно шерстку-то ей каждый день в парикмахерских ладят! Да гордая такая. Всеми командовать стала.

От горшка два вершка, найденыш брошенный, а ей какое дело, коли командирша! От земли не сразу и увидишь, а как тявкнет, всех построит.

Такая вот рукавичка…

Ну и жили себе поживали.

Раз в неделю Иван всех дам с подоконников собирал и вез в какой-то Народный.

Я однажды говорю:

– Иван, а что это за Народный?

– Да так, говорит. Магазинишко.

Тут бабки все в машину его сгрудились.

– Давай, – говорят. – Чего застрял?

И хохочут.

Смешливый народ у нас. Все посмеивается...

– Иван, – говорю. – А почему ты меня никогда не взял туда в свой «Народный»?

– Нет, – говорит. – Вам туда нельзя. Нетнет. И не говорите даже. Нельзя Вам туда.

Как отрезал...

Ну, нельзя, так нельзя.

Так вот, ребятишки собирались на дне колодца, делали вид, что игрой какой-то заняты, а сами ждали, когда Катька, сидевшая на заднем крылечке кафе, вход в который с Фонтанки был, сигаретку свою не спеша выкурит. Отдохнет, значит.

А как встанет, фартук свой поварский поправит, синими очами по дну-то нашему полохнет, тут ребятишки все стайкой к крылечку прижмутся.

Так, мол, ничего не знаем и знать не хотим.

Тоже гордые. Хоть и мал мала меньше.

Немного их набиралось. Человек 5-6. Опустели тогда, в 90-е дворы наши по Фонтанке. Весь народ на окраины повывезли...

А она, Катерина-то, глянет на меня: чего, мол уставилась? Я и прысь с подоконника. Погрелась и хватит.

И так поняла я за несколько лет, что подкармливала Катерина ребятишек-то. Не зря воробьишки-то эти к нам слетались.

Затянула я рассказ, но досказать должна.

Помните, Ваня-то насчет волков предупреждал.

Так вот, подарили мне как-то щеночка.

Обрадовалась я девице этой новорожденной – слов нет. Только уши у нее были обрезаны. Под самый корень. А дух от нее – волчий. Неистребимый.

– Это-то зачем сделали? – спрашиваю.

И на уши показываю.

Смеются:

– Так надо. Чтобы с кем не спутали...

А чего тут путать-то! Я в тайге росла. Знаю, как волк пахнет. Но промолчала. Выращу человеком, думаю. Ничего!..

Только природу не обманешь.

Было ей месяца два, и вынесла я ее во двор наш прогуляться.

Смотрю, доберман Ванин, красавчик наш, обрадовался, сунулся к ней, да как дух-то учуял, так взвизгнул и прыжками от нее задом наперед.

Весь двор в 3 прыжка преодолел убегаючи. Еще и описался.

Иван молчит, головой только покачал.

Росла она быстро. Любила украшения. Обожала просто!

Браслет ей наденешь на лапу, а она ресницы вниз, любуется и прямо кажется, вот-вот щечки девичьи румяные вместо шерсти появятся...

Один раз только и напугала меня.

Ночью просыпаюсь, а передо мной два угля зеленых, горячих светятся...

– Регинка, ты чего? – спрашиваю.

Молчит, не движется.

Поднялась я, свет зажгла. А она – к серванту и носом показывает.

Смотрю, глазам не верю. Вазочка с салфетками не на своем месте стоит.

Я сама порядок люблю. Но чтобы собака так вот реагировала!

Поставила я вазочку на место. Вздохнула она и пошла к себе спать. А перед этим все форточки проверила и ручки у газовой плиты...

Утром собрались мы все на дне колодца.

И Елисавета, и Иван, и Захария тут же машину в порядок приводит – повзрослел парень-то.

Я рассказываю им про ночное происшествие. Иван только головой мотнул и в небо уставился.

Смотрю, а там Люська наша висит. И разговор наш слышала.

– Вы, – говорит. – Отдайте ее брату моему.

– Нельзя, – тихо говорит Иван. – Поздно уже. Брат-то Люсин в охране служит. В «Крестах». Кинолог он. Но нельзя. Она людей рвать будет. Поздно. Усыпляйте ее.

И ушел.

Вот выдал! Целую речь произнес. «Усыпляйте»! Ишь какой!

Я даже обиделась.

Но смотрю – годам так к четырем звереть наша Регина стала.

Только соседского кота не трогала. Мы с Гузель познакомили их, когда они молочными еще были, и Мурзу она уважала. А людей стала ненавидеть. Птиц, собак, людей... Зверела.

И повадки появились совсем не собачьи. И дух ее волчий никакие шампуни не брали.

Описывать долго. Но поняла я, что волчица в доме растет, и дом этот к логову готовит. А мы для нее стали лишними.

В общем, после того, как она загрызла птицу – поймала и разорвала – у всех на глазах под наши крики и слезы, пришлось врачей вызывать...

Ее обкололи и увезли. А я сидела в туалете и ревела в полный голос. Как никогда.

С этого случая повались на наш дом номер 55, что стоял на углу Фонтанки и Росси беды.

Сначала девицы-риэлтерши налетели стайкой наглой, бесстыдной, никаких возражений не слышащей. А потом и еврей из самих Штатов, как сказал, заявился:

– Будет здесь моя гостиница. А вы все выметайтесь!

Мы, говорим, как это!

Мы ведь собственники, не имеете права! У нас тут коммуналок-то нет, вы кого расселять собрались?

А он цыкнул сквозь зубы и прислал бригады узбеков. Дом, якобы проверять.

Начали они с чердаков да каретных, в подвалы полезли.

А потом стали рушить печь нашу уникальную.

Стояла она в подъезде, огромная, этажа в два, а обогревала когда-то – век-полтора назад – весь дом.

Он потому и построен был закрытым квадратом-колодцем.

Ну, мы объединились, меня старшей назначили, а я велела все собрания под запись делать. На бумаге протоколом, да на диктофон – для верности.

Стояли мы, как Брестская крепость в 1941 году.

Да только все равно обхитрил нас еврей-то. Почти всех выгнал.

Ивану пришлось даже морду ему как медный таз отполировать, говорят. Но я этого не видела.

Но вот, что интересно.

Никого мы не потеряли и каждый обрел, что хотел. С улучшением. Потому, что от добра добра не ищут.

И вот, вместо нашего 55-го торчит на углу Набережной Фонтанки для чьего-то обогащения гостиница.

Спасибо Миронову надо сказать. Политик есть такой. Мы с тех пор уважаем его. Не болтун. Настоящий мужик. Еврея не побоялся, хоть и знает, что они, как волки, стаями режут. Да…

А Елисавета с собаками и кошками осталась. Ей некогда на еврейские заморочки смотреть. Вон, сколько брошенных-то по стране!

А ведь что меня сегодня-то заставило все это вспомнить? Скажу.

Открываю я с утречка пораньше Святое Благовествование от Луки. И смотрю — имена все знакомые!

Иоанн, Захария, Елисавета, Ангел. Даже Илья. Забегал к нам Ильюшка синеглазый да чернокудрый к Катерине – подкормиться…

"Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели!

Се, оставляется вам ваш дом пуст."

(Благовествование от Луки.
Гл. 13, ст.ст 34-35)

Это о тех сказано, кто Иисуса Христа распял. И не было среди них имен моих соседей.

Санкт-Петербург

СЕСТРЫ

– Ну, здравствуй! Как поживаешь?

– Ты знаешь.

– И все-таки, расскажи. Я теперь все время буду с тобой.

– А где ты будешь жить?

– Я нашла. Ты не волнуйся.

– Знаю-знаю! «Волноваться вредно!»

– Плюнь. Все полезно. Расскажи, как ты?

– Ты все знаешь. Что я могу рассказать?

– Я ни-че-го не знаю. Рассказывай. Все-все.

– Ты знаешь, всю последнюю неделю сентября я просыпалась с ощущением потери невероятно счастливых дней.

– Потери?...

– Нет-нет, ты не подумай, что это плохо, нет. Я не огорчаюсь. Я, наоборот, радуюсь. Меня просто омывает какая-то тихая, ласковая радость.

Ощущение счастья, наверное, понимаешь?

Улыбаешься. Не веришь? А я словно бы находила их, и все эти, нечаянно найденные вдруг дни, были ***моими***.

Я сама прожила их, понимаешь?

И ни один из них не был похож на другой.

Был – день-бабочка. Яркий, цветной, порхающий – все переменчиво, подвижно...

Неуловимый, неприкасаемый... Ты это знаешь: прикосновение может испортить пыльцу на крыльях. И бабочка тогда не сможет летать и умрет. Так говорят.

Поэтому я не брала в руки даже акварель, чтобы не испортить пыльцу этого чудного дня... Ну, вот, ты улыбаешься. Не веришь, что ли?

– Верю-верю, конечно. Ты рассказывай, Машенька, рассказывай!

– Ты понимаешь, день-бабочка пахнет соснами, травами, заливом. Ты помнишь, как пахнет наш залив? Ну да, ты недавно была там, я получила эсэмэску.

Ася, он, этот день-бабочка, пахнет лесным прогретым летом, не знающим ни бетона, ни асфальта...

И бледное, до легкой синевы лицо Младшей – так прозрачна ее кожа – светится радостью.

– Ну-ну, ты рассказывай, – говорит Старшая и отводит глаза вверх, в небо, словно увидела в нем чайку.

– Или вот, день-загадка… Черные резкие чернильные полосы, вдоль и поперек, кругами-квадратами по всему дню-ребусу, когда вдруг ни-че-го не понимаешь…

Так дети, совсем маленькие дети – рисуют на бумаге что-то свое, неосознанное, не выдуманное… Ты, правда, не спешишь?

– Нет-нет. Рассказывай!

– А вот, день – радость. Ничего-ничего не болит, понимаешь? И кажется, что с самого утра можно так много хорошего сделать…

И все эти дни – в теплом-теплом свете, потому что нам сменили белые шторы на золотистые, и из-за этого никогда не знаешь, какая на улице погода. Солнечно. Всегда!

Всегда солнечно, понимаешь?

Старшая кивнула. Они помолчали.

– Ты знаешь, – тихо, почти шепотом, сказала Младшая. – Мне снятся плохие сны. Все время. Одни и те же…

Всегда немного по-разному, но одни и те же.

Мне снятся могилы, как квадратные комнаты из сырых досок, плохо оструганных, сырых, не просохших...

А в последние сентябрьские дни сны эти больше не приходили!

Зато я теперь знаю: есть художник, невидимый.

Это он зарисовывает мне по утрам пропущенное лето.

Наверное, для того, чтобы я больше не думала о том, что это лето само меня просто выбросило.

Обошлось без меня.

Но оно же было?!

И дни-бабочки, и все те, что я вижу по утрам... Ася, я глупая, да? Не было лета? То есть оно было, но...

– Ничего, – сказала старшая сестра. – Следующее лето мы не пропустим, хорошо?

***

Хоронили Машеньку на излете зимы, когда почти всюду еще лежал снег, и гробовщики ворчали, что земля не оттаяла и надо бы добавить денег...

Санкт-Петербург

БОГИ НЕ ПИШУТ КНИГ

А вот скажу я вам, может, и не совсем умное слово, но складывается у меня такое впечатление, что писатель и политик – несовместимы, как родник и место тайное, отхожее. Никому не в обиду говорю. Вижу так... Но еще добавлю: писатель – не Бог.

Как-то в юности брала я интервью у Гранина Даниил Александровича. Приезжал он в группе ленинградских знаменитостей в Заполярье. С мэтрами.

А, может, это мэтры брали их с собой народу показать, да с народом пообщаться.

И Васильева наезживала, и Шесталов, и сам Рытхыу с супругой, которую брал с собой всюду, чтобы поглядывала за ним-то.

А ее и уговаривать не надо было. Знала, что азиатские парни слабы на водочку. Иной от одного запаха совсем дуреет. Нельзя им. Их предки генетически к другому яду приучили. Да не в этом суть.

А привозил их всех в Заполярье старый уже тогда Анатолий Ефимович Горелов, когда-то создавший Ленинградскую писательскую организацию, потом 25 лет по зонам да тюрьмам проведший.

Правда, и там берегли его, так как много книг знал и мог часами рассказывать забулдыгам тогдашним, народу нашему тюремному.

Только сдается мне, что даже там тогда другие люди были. Честнее, что ли. Слово умели держать.

Но вот, когда к уркам попал – те всегда нелюди были, проиграли они писателя. Но жив остался. Отрезали они ему кончик языка, – так он мне рассказывал. И еще смеялся… Тем и отделался.

В общем, десяточку-то из 25 Анатолий Ефимович как на «курорте» (не приведи, Господи!) провел, потому что через 15 лет перевели его на поселение, и там не то председатель, не то еще кто, в общем, начальник, давал ему старые бланки, на которых писать можно. И карандашик. И позволял делать ему свои записки.

Чем не курорт для писателя?!

Туда и Роза Рафаиловна могла уже к нему прибыть.

А потом то-се, реабилитация.

И вернулся он в Ленинград, к родным Пенатам. Да не с пустыми руками.

Написал он тогда уже столько чудесных книг да таким ясным языком, что я, забывая русский из-за общения с чужими, хватала его тома, чтобы вкус подлинно русского во рту по-

катать, душу промыть, глаза от скверны очистить...

Ну, да я не о том начала-то. Хотя надо добавить еще строчку, что вернувшись в Ленинград и человеческую жизнь, Анатолий Ефимович, образовав все дела, бросился в Хибины. В Заполярье.

Там все эти годы жила его мечта, там пребывала. И называлась она любимой всеми горняками да горнячками газетой: «Хибиногорский», а потом – и по сию пору – «Кировский Рабочий».

А создавал-то ее он. В туманные 30-е годы, когда никого из нас, пожалуй, и на свете не было...

И читать те номера все равно, что лицом в уголь горящий.

Время-то безжалостно.

Обжигает...

Набирал он себе в сотоварищи людей, как полагал, одаренных, хоть и не всегда про Крайний Север слышавших.

Единственный, о ком этого не скажешь, был Юра Помпеев, комсомольский Бог юного города нашего и всей Всесоюзной ударной стройки, написавший свою знаменитую «Хибинскую Спарту».

А сила тех поездок, тех встреч была в разговорах. Серьезных.

Много тогда люди читали, много думали…

Был Гранин тогда не стар, и волосы, как вороново крыло.

Личико круглое, как у старичка-лесовичка, и брови вперед задиристо так торчат. Такому и поверишь. Да и не с лица воду пить.

Собирались в актовом зале Кольского Филиала Академии наук СССР молодые и не совсем геологи да космофизики, химики, да минералоги, сами поэты, сами, порой, и писатели, но к приезжим относились с пиететом.

Еще бы! Только что из Ленинграда народ-то! Как не поговорить? Как не послушать?

И вот, запомнилось мне из многих тогдашних ленинградских речей один Гранинский вопрос:

– Вы отчие могилы помните?

Нам, молодым да умным, странным вопрос этот показался. В Новом Городе и кладбища-то еще не было… Да и мало, у кого отцы с фронтов вернулись.

Особое поколение слушало Гранина.

Особое.

Войной обожженное поколение.

Знал ли он это? Думал ли?

Не знаю.

Он упрекал с трибуны горячо, убежденно, вдохновенно о том, как велик грех не помнить отчие могилы и т.д. и т.д.

И вот, сижу я на краешке ленинградского кладбища. И крестов вокруг меня несчитано... И горя — немеряно...

Эх, ты, думаю, старый! Вокруг поэтической строчки мозги наши юные, как юлу детскую закручивал, а это — от края до края — ты предвидел?

А если да, то почему о могилах говорил, а не о людях, которым бы жить да жить, а не молодыми под крестами гнить, почему?

Не спросила я его тогда об этом в своем интервью. Не предвидела.

И, думаю, ничего бы он мне путного не ответил. Тоже, наверное, не мог ни предвидеть, ни предсказать...

А впрочем... Все один Бог знает. Но Он книг не пишет.

Санкт-Петербург

ШАР

И можно раскачивать головой, как воздушным, но таким тяжелым – свинца налили, дроби насыпали, пластидом лживых слов спрессовали –невыносимо тяжелым! – шаром.

А в руках даже веревочки нет, и потому вместе с головой-шаром раскачиваются плечи, затем – туловище, почти по пояс, точнее не знаю.

Но она не уходит – твоя усталость.

Когда она стала накапливаться? Не знаю. Не заметила.

Так накапливаются на гребне горы снежинка за снежинкой – такие легкие, почти невесомые. Такие прекрасные. Каждая – Королева.

А люди ходят внизу, и никто не думает о них. Кто думает о красоте, если она всегда перед глазами и ее много, и она не твоя? Почти никто. Редкие люди. Сумасшедшие, наверное.

Но однажды королевы-снежинки, озверев от собственной красоты и тяжести ее, потому что вдруг обнаруживается, что их слишком много и что это изобилие равно смерти – так сцепила, слила в единый тяжелый ком их непреодолимая сила земной гравитации, что превратились они в злых и недобрых снежных ведьм.

И рванули они вниз по склону, ломая, закручивая в свою неземную неуправляемую силу, убивая все, что есть на пути.

И – я, кажется, теперь понимаю это, – усталость, тихой снежинкой зародилась где-то в глубине моего я, стала нарастать, сначала почти незаметно, но неизбежно, потому, что я старалась не замечать ее, как не замечают люди, живущие в долине, белого уже дымящегося временами от ветра, козырька зреющей лавины.

Но однажды ты начинаешь ощущать, что голова твоя тяжела, как свинцовый шар, что забило, утрамбовало ее чужими словами, образами, не твоими мыслями, посягающими на твои. И ты начинаешь искать избавления, но тебя все больше и больше захватывает страх никогда от этого груза не-себя не освободиться.

И страх этот растет и растет.

Страх, что ты, еще вчера свободный воспринимать мир как он есть, кем-то заглочен и не себе уже принадлежишь.

Иногда он уходит.

Я снова даже могу кому-то помочь.

Могу, как прежде, кого-то спасти.

Только... он всегда возвращался. И я думала, нет спасения.

Но однажды я обнаружила, что этот циклоп, это чудовище, этот Змей-Горынч... слеп!

Он глядел на меня и не видел. Искал и не находил. А я просто была очень занята. Мне было не до него.

Он взвыл. Он качался на кривых, становящихся все тоньше и тоньше ножках, его щупальцы раздавили стекло балконной двери, и по ней потекла неприличного грязно зеленого цвета потоками его кровь. Я краем глаза увидела это. Но я была так занята, что не могла даже пожалеть его.

А он метался. Он снова и снова пытался превратить мою живую мыслящую голову в свинцовый или чугунный шар, мне не принадлежащий. А я просто забыла о нем. И он больше никогда не возвращался.

...Наверное, это был сон.

Когда я очнулась, по комнате гулял тихий вечер, и на балконной двери чуть шевелилась в закатных лучах прозрачная занавеска.

– Никогда не засыпай на закате, – говорила мне мама. – Никогда.

– Почему это? – спрашивала я.

Мама сначала молчала, занятая чем-то своим, неотложным, а потом сказала:

– Запомни, доченька! На закате спать нельзя. А то голова болеть будет.

Санкт-Петербург

ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ

И яблоки были золотые, солнечные. И оттого, что их было много – в руках белоголовых ребятишек, в подолах женщин, грудами на столах, у нас на коленях, смеющихся просто оттого, что – лето и солнце, и яблоки – повсюду – в руках, на деревьях, в траве под ними.

И аромат солнечного лета – нет, само лето! – состояло только из них – золотых волшебных яблок и золотого счастливого смеха и волшебных яблонь, столь щедро...

Он ходил среди оторванных рук и ног, вспоротых и вывернутых наизнанку людей, среди окровавленных неподвижных мужчин и женщин, он старался не задеть никого, чтобы кому-то из них, здесь лежащих, не стало еще больнее, чем было, но он ходил среди них, потому что где-то здесь была его мама.

Он не знал, куда смотреть. Впервые он оказался выше всех взрослых, хоть было ему всего 4 года.

Он должен был найти маму, вот же она, только что держала его за руку, до того, как снаряд, прицельно пущенный кучкой пьяных от крови извергов, врежется в них, взорвет и погасит этот солнечный день, и не станет яблок, и куда-то вдруг исчезнет мама.

Он чувствовал, что вот-вот заплачет, его личико уже свела гримаса, но он знал, что плакать нельзя, потому, что мама говорила: мужчины не плачут!

И еще он знал, что где-то здесь она, и что не надо шуметь, а вдруг кто-то подаст голос, позовет, а он не услышит.

И шло солнце к вечеру, и приходили какие-то люди и что-то говорили. Но он ничего не хотел видеть и слышать. Он помнил только, что нельзя плакать и нельзя шуметь, чтобы найти ее.

ДНР – Санкт-Петербург

ПРИТЧА

Пришла беда первая.
И только один отозвался...
Пришла вторая беда.
И двое отозвались...
И в третий раз
пошла на нас беда...
Но никому не надо было уже
помощи
потому,
что все уже
были безумны.

Санкт-Петербург
04-02-2015

КОГОТКИ

День прошел, зацепил коготками и растаял. Ночь за окном. Коготки разные были.

Первый взволновал: прибежала Марго — попрощаться. Осыпала подарениями шедрыми — хурмой да виноградом сладким, как счастье.

Наша псинка как подсела к нему, так и отойти не хотела. Ждала, когда помоют, да угостят. Ну, и другое разное...

И две упаковки белорусского богатого сала.

— К посту, — говорю. — Постаралась?

— Нет, — говорит. — К разговению...

И грустно мне стало. Значит, не скоро увидимся...

Да пора было бы нам уже начинать привыкать к ее частым исчезновениям в никуда. Да вера не позволяла: ей мы верили. А потом позвонили, что пришла посылочка маленькая из Москвы. Порадовались.

А в остальном, как всегда, — кто-то все допытывался от нас чего-то, кто-то непонятное хотел понять, кто-то свиристел в уши про нерусские хануки и про то, что иудеи победили греков за 200 лет до Рождества Христова.

И плыл себе день под петербуржским небом по русскому декабрю восьмую тысячу лет...

СЧАСТЬЕ

А воздух был прозрачен и свеж, каким бывает он только ранним-ранним июньским утром, когда солнце, пройдя сквозь святые глазницы Смольного собора, впервые коснулось тихих покойных вод Фонтанки...

И прикосновение это пошло вниз, от Летнего Сада, прямо к тебе, едва касаясь вод, настолько тихих и покойных, какой только может быть на рассвете непроснувшаяся влюбленная девушка, улыбающаяся чему-то своему, никому невидимому...

***

...За окном была Рига, и зима, и тоже всходило всесильное ярое око, пригибая вниз, к котловине, все чумные дымы большого города.

А ты сидела в кровати, пила утреннее молоко, которое подала тебе заботливая хозяйка, глядела, не мигая, в очи Светила, поглощавшего тьму, и никогда не думала, что счастье может быть другим.

***

…Собака рвала на ходу зеленые травинки, пережевывала их неспешно и тоже глядела на солнце — она все видела нашими глазами…

А может быть, нет, и у нее свои рассказы о том, что мы переживаем-проходим-переходим вместе?

***

Далеко в небытие беспросветное канула чужая теперь Рига, и не мы косили сено для зимних надоев, не мы пили парное молоко на рассвете, хотя земля помнила нас и того, кто поставил неподалеку от моря, у деревеньки за косогором первую ригу.

***

…Мы шли вдоль Фонтанки, омытые рассветом, мимо спящих баркасов и лодок с роскошными названиями, демонстрировавшим всем неистощимую любовь вели-

коросов к творчеству и упрямую их веру в то, что «как яхту назовешь...»

Шли прямо к Михайловскому саду. В тишину его вековых аллей, в которых все еще покоилось никем не потревоженное время.

И Замок казался обитаем, и планы на счастье, радость и долгую чистую жизнь не были еще оборваны предательством, убийством, коварством и умыслами, в которых нет места живому человеку, тем более, если он – Государь России.

Мы шли по петербуржскому рассвету, и никого не было вокруг, кроме нас, спящей реки и просыпающегося солнца.

И это тоже было великое счастье - ничего не помнить, никого не упрекать и ни о чем не жалеть.

Санкт-Петербург

Lokal Inn
Rooms

«Кружится, кружится старый вальсок...»

Когда человеку совсем-совсем одиноко, настолько, что не с кем поговорить, просто вот так – не с кем! – он начинает вспоминать тех что были на этой земле.

Смеялись, бегали, работали. Ими гордились, потому что они были просто хорошими людьми. У них были папы и мамы, у них были дети и они никогда никого не обижали.

А сколько звуков было вокруг!

Во всех дворах играли патефоны, окна были распахнуты, потому что курили тогда почти все взрослые.

Те редкие мужчины, которые ненадолго вернулись с фронта, женщины тех, кто никогда не вернулся.

Курили, чтобы заглушить боль, от которой не было защиты.

И боль была за тех, кто не вернулся.

Некоторые спивались и умирали быстро. Сгорали они от послевоенного спирта. Глотнули на выдох, а вдохнуть уже не могли.

О них так и говорили – сгорел.

Никто никогда не говорил: спился.

Не было, наверное таких. Иначе кто восстановил бы города, заводы, фабрики, дома, в которых стали жить люди? Кто?

Да те, кто остался в живых после всех фронтов Великой Отечественной. Они всё и построили своими руками, всё восстановили.

Слово такое ритм.

Вот они жили, как танцевали – в одном ритме.

Больше всего они любили почему-то вальс.

Может быть потому и многие военные песни были написаны в вальсовом, кружащемся ритме.

«Кружится, кружится старый вальсок…»

Но это – уже много позже, когда подросшие дети войны отказались от родительских вальсов и танго, полек и па-де-грас'ов, отказались резко от всего, что связывало их с «предками» и с головой окунулись в космические ритмы рок-н-рола, истому блюзов, тряску чарльстонов и твиттеров.

Твиттер.. Что-то очень знакомое. Может быть, танец по-другому назывался? Не помню. Спросить не у кого.

Когда умерла мама…

Об этом я пока не могу…

Все их великое поколение уже ушло с этой земли.

Она ухитрилась родиться в 1919.

Тогда, когда хазары, убив Государя Великой Империи, убив зверски, а заодно и замучив до смерти его детей, их маму, всю челядь, что оказалась рядом, свершив таким образом свое варварское жертвоприношение, почувствовали, что обезглавили, гильотинировали великую страну.

А раз так, теперь они хозяева.

Но вопреки их расчетам, в убитой России рождались дети.

Да-да, и года не прошло, а у этих людей стали появляться детки.

И хазарянам снова стало страшно.

А со страху чего не наделаешь, если ты хазарянин и тебя на всю жизнь укоротили в 8 дней от рождения, чтобы всегда! – слышишь, всегда! – помнил страшную нечеловеческую боль и унижение, из которого уже никогда – ты это понимаешь – не выбраться?

Самые нечеловеческие зверства – вот, чем глушили страх хазаряне.

Не оттого ли они перестали быть людьми?

Вот в это-то время, в июне 1919 года 8 числа и родилась моя мама.

Была она беленькой и голубоглазой, как большинство тогдашних русских. И ясно было, что будет красавица.

Уже не было в живых ни деда, ни прадеда. Мария была в доме четвертой девчонкой.

Тува, Фыркал, Колчак, к которому шли непростыми дорожками они в Новониколаевск…

Дошли все-таки. Да поздно. Генерала, Правителя Российской Империи уже убили, сбросив под Иркутский лед…

…Я и сей час плачу.

Бедная страна.

Кому на съедение досталась? Нелюдям…

Вот и слава Богу, подумали ее родители, переглянувшись. Уйдет в тишину наша фамилия, за которую расстреливают.

– Отец, тувинцы люди добрые. Им до русских дела нет. Отделяются они, говорят. Может быть, Марию-то попроще запишем.

– Тебе и уговорить, Пелагея. Мне лучше рта-то не открывать. Они военную косточку сразу учуют.

– А то по тебе и так не видно?

Засмеялась.

– А ряса? Я могу и в рясу теперь-то обрядиться. Не грех. Разрешили ведь.

– А где ты рясу такую найдешь, которая русского офицера скроет? В рясах-то что – не воины?

– Воины.

Долго молчал. Спорить не любил. А об очевидном что говорить?

Потом сказал негромко:

– Ну, так решили?

– Попробую. Хоть начало фамилии, или корень, если повезет, чтобы своих нашла, когда вырастет.

– Это где же она своих-то искать будет?

– Так как – где? В Петрограде и окрестностях. Наших найти не трудно – взгляни, какая лапушка! Уже сейчас видно, из чьих.

“В том-то и беда, – подумал отец. В том-то и беда, что мы как в прицеле. К мишени приклеены… породой.”

А сейчас почти 2 ночи, за окном мамин Петроград-Ленинград, и я иду на кухню, чтобы сварить себе кофе.

И на плечах моих золотая, окрапленная кровью предков моих мантия, сотканная из судеб и лет, кем-то так и не дожитых…

Память-мантия, в ткань которой вплетены все события, дни и голоса, бывшие вчера и за тысячи лет до…

Начиналась пятница, 13 декабря нового чужого века…

БЕЛАЯ КНИГА

И, просыпаясь, увидела я
белую книгу.
И корешок ее был покрыт
тонким золотом.
И удивилась я
красоте это его сочетания.
Потому, что говорят у нас,
что золото — зло…
И все утро думала, пока все спали,
а я дела всякие переделывала, —
отчего это красотой такой

пахнуло на меня
от книжицы этой небывалой?
А сама она была небольшой,
просто малюсенькой —
в центре ладошки
уместилась бы.
Вроде той,
что Алина Полякова
как-то на Фб выложила
народ позабавить.
Только у Алины
обложка-то книжечки
малахитовая, вроде бы, была
и не понять, есть ли что под ней.
А эта – белая-белая,
с тонким золотым обрезом,
хоть и была меньше ладошки, но
страниц в ней было много-много…
Думала, я думала.
А потом поняла — чистота это.
Чистота объединила
белое с золотом.
И красота получилась.

❁

КОФЕЙНЫЙ ЗМИЙ

Андрюша пишет стихи. Он всегда их писал – говорит, дисциплинируют мозг…

И очень серьезные книги. Им он по-настоящему рад.

Его книги нестандартны и необычны.

О времени и мире, в котором не существует людей в привычном нам понимании.

Мы все у него как бы под микроскопом…

Собак он считает вечными детьми. И он прав.

К волкам уважения чуть больше. Только они тоже обречены, считает он, потому что узнали страх.

Будешь бояться, думаю я, когда в тебя с вертолетов палят какие-то обезумевшие дряни.

Раньше люди с вертолетов лесное зверье не убивали.

Ему все это, строго говоря, совершенно неинтересно. Говорит из вежливости, потому, что слышит, что рядом со мной собака.

Весь этот вечер я говорила с людьми, которым за 80. Больше слушала.

Тревога вдруг навалилась, живем в разных городах. Вот, и позвонила…

Я постаревшими их никогда не видела и, говоря с ними по телефону, представляю их

прежними. А они, как всегда, говорят о книгах – написанных и прочитанных, об открытиях того, чего не знали прежде. Они никогда не ноют и не жалуются. Весь мир объезжен, весь мир изучен, все звания, возможные в мире ученых, получены. Или почти все.

На днях выйдет новая книга. Ему интереснее размышлять о санскрите, об архаичных, мертвых языках, таких, как литовский, украинский.

При слове «украинский» я вздрагиваю.

– Так ты хохол? – кричу я в трубку.

– Да, конечно, – произносит он с явным достоинством.

– Так, может, ты укроп?

– Почему укроп? Какой укроп?

– Да из тех, озверевших хохлов, что сжигали, травили, истязали и убивали людей. И стали укропами. Скажи, почему они озверели?

– Для этого очень постарались умные дяди.

– И тети, – добавляю я. – Но люди, почему они озверели?

– Их такими сделали... Они сами себя боятся. Поэтому ими легко управлять. Это уже не люди в биологическом смысле. Ты знаешь, кто не потерял страх?

– Кто?

– Гиены. Они даже в утробе матери уже отращивают зубы и покусывают друг друга. Ты знаешь это?

– Нет, – отвечаю я. – Не очень симпатичные твари, эти гиены. Но какой бы салат получился для них из тех самых укропов, которые твою Хохляндию оккупировали!

Он смеется:

– Салат для гиен. С укропом! Неплохо.

Мы еще долго разговаривали, о чем, не перескажешь.

И голос у моего Академика нормальный, солнечный. Как обычно. Только вдруг он словно вскользь, слегка дрогнувшим голосом, говорит негромко:

– Ты знаешь, в некоторых странах начали эвтаназию отменять.

– И что? – спрашиваю я.

Он повторяет.

С тихим невысказанным вслух сожалением.

– Ты что такое говоришь, Андрюшка, а?! – возмущаюсь я. – Это же грех. Двойной!

– Грех! – хмыкает мой академик. – Допустим. А почему двойной?

– А потому, что ты заставишь кого-то убить себя. Кого-то в грех введешь. Вон как пристроились, а?! В рай и то на чужой спине!

Он смеется:

– Ну, с тобой всё ясно! А меня вчера мой редактор порадовал…

Под утро мне снились валуны – огромные, гладкие, как спины двух китов наполовину в землю ушедших.

Или, напротив, возникающих из нее?

И кто-то рядом, невидимый, сказал:

– Из них родятся люди. Не будет на земле пусто.

И валуны шевельнулись…

Не знаю, как рассказать об этом поточнее, чтобы передать вам, что я пережила, когда валуны шевельнулись…

И само это движение – завораживающее, незабывное…

Нет слов для этого.

Для того, чтобы передать то ощущение бездонной ясной радости, которая вдруг омыла, обняла меня.

Я проснулась.

Огромная, космическая радость переполняла меня. Было 7 утра, а не обычные 3 ночи. Нормальное время!

В Санкт-Петербурге снизилось атмосферное давление, а с ним ушли бессонные ночи.

Ненадолго, но ушли же!

Я пошла на кухню, тихонечко сварить кофе, стараясь не расплескать наполнявшую меня радость.

Все еще спали… Но, стоя над джезвой, в которой начинал закручиваться Кофейный Змий – это он на самом-то деле варил кофе, а я – так, принеси-подай, я вдруг почувствовала, как тает радость.

Тихо посвистывая, крутилась вокруг меня, опустив вниз большую умную голову, далматинка Маруся.

Словно по следу шла.

И пока длилось это утреннее колдовство кофесотворения, космическая, неземная Радость растаяла. Ушла.

Будто ее вытянуло в форточку.

И остался ужас.

Отчего? Не знаю.

Быть может, потому, что где-то на южной окраине России ходили укропы и от страха жгли людей.

И только, как сказал мой Академик, одни гиены не потеряли страх и спешат отрастить зубы, еще не родившись.

Но в наших широтах они не живут.

Санкт-Петербург

ПЛОХОЙ ДЕНЬ

Серж болел уже почти неделю, изредка поднимаясь с постели, и все худел и худел.

И чайки кричали, и ветер менял направление, и кончилась в доме святая вода...

Лушка пришла поздно вечером, голодная.

Долго ела, поругиваясь: зачем вы хинкали посолили, я без соли ем, уберите хлеб, от хлеба полнеют!

Намазывала мощным слоем яично-ореховый салат на хинкали, запихивала в рот, запивала жирным бульоном и тут же – столовой ложкой – в густой ореховый салат.

Спешно, голодно.

А поначалу отказывалась: спасибо, сыта, не хочу есть, я уже поужинала, я на минуточку и – ˝на ночь есть вредно˝...

Вспомнилось студенческое наше житье. Когда особенно голодно было, когда особенно хотелось есть, к столу в гостях не садилась. Почему-то стыдно было быть голодной.

Спрашиваю:

– Добавки?

– Нет, спасибо! – говорит. – Только вы зря пищу солите, это вредно. Соль и сахар – белая смерть.

˝А тебе красная нравится?˝ – хотела спросить, да удержалась.

Слава Богу. Редко сдерживаюсь, а надо бы…

Лушка строит новую жизнь. Сдала квартиру, сняла комнатку у подруги.

Достраивает второй этаж дачи.

Подругу осуждает:

– Не могут на газовую плиту всей квартирой скинуться! Коммунааалка!

Что ж ты, мать, думаю, о коммуналках-то так неприятельски?

Сама-то давно ли по ним скиталась, да по углам чужим. Что ж, так?

Но молчу. Сдерживаюсь. Смотрю, как Лушка откинулась жирным телом, вдавилась в кресло, блестит, лоснится…

– Тебе пора, Лушка, – говорю. – Иди.

– Чего? – спрашивает.

– Домой, – говорю, – иди. Мальчишки-то твои где? Поздно уже.

– А ну, их, – машет пухлой ручкой Лушка. – А я вот теперь никому не верю! Даже Путину.

– А он что?

– Кто – он?

– Да Путин-то? Он как на твою веру?

Смеется:

– Все шутите.

Вошла Маруся, опустила морду, сделала круг по комнате, встала напротив Лушки.

– Тебе чего, собака? – спрашивает Лушка.

Зря она так. Маруся не любит, когда ее называют ˝собакой˝. Она – Белая Леди. И знает это. Ее даже в питомнике называли ˝Истинной Леди˝. Это в месяц-то отроду.

Уже тогда было видно, что за необычное создание пришло в мир.

Но Лушка этого не понимает.

Маруся закаменела, пристально уставилась на Лушку шоколадными глазами.

– Чего тебе? – спрашивает Лушка.

А та круг по комнате прокрутила – поволчьи, низко опустив голову и не спуская глаз с гостьи.

И снова остановилась напротив. Смотрит пристально, чуть исподлобья.

И вправду – белый волк в черную крапинку, в черный горошек.

– Чего тебе? – снова спрашивает Лушка.

– Гонит она тебя, – говорю.

– Ой, засиделась я, – Лушка тяжело выкатывается из кресла.

Широкими босыми ступнями передвигается к коридору.

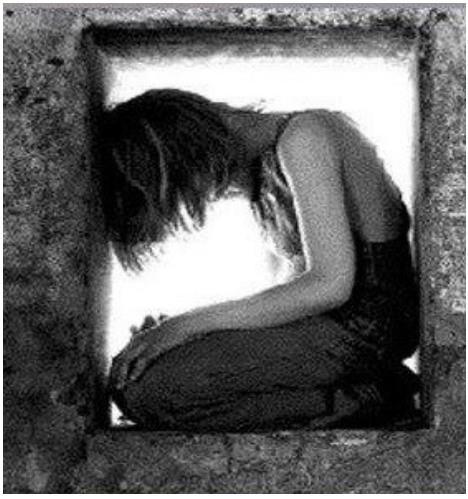
У нас не разуваются. Но у Лушки на все свои правила. По нашей квартире она ходит босиком.

Я не люблю, когда чужие люди ходят по моей квартире, оставляя за собой потные следы. Ненавижу. Она это знает. Но ей все равно.

...В прихожей Лушка тяжело, медленно обулась, покрутилась перед зеркалом и ушла.

И тянулась, кружилась по Городу, по углам его и закоулочкам горячечная ночь. И чайки кричали, и ветер менял направление. А Серж все спал. И не хотелось жить...

Санкт-Петербург



ЦАРСКИЕ АЛЛЕИ

И в полудреме, опускавшейся на сад глубокими, но едва различимыми тенями, Лягуш бесшумно пересек тропинку, неся на своей выпуклой спине знаки судеб всех времен, начертанные темным изумрудом по шоколадной, как мне показалось, замше.

Может быть, не шоколадной. Я никогда не сказала бы так, если бы знала о том, что существует на свете коричневый бархат.

Но тогда, в полумраке Царских аллей Дворцового парка, где мы проводили все вечера, я этого еще не знала.

Мы шли вдоль аллеи. Почти невидимая в этот час металлическая сеть отделяла нас от родникового озера, из которого пил воду чуть не весь город.

Озеро поблескивало далеко внизу – между нами уже легла бездна наступающей ночи, и в ней не было ни огонька, ни светлячка, – потому и бездна, то есть беспросветная тьма, тьма, без дна.

И почему-то, описывая это, вспомнила я Валентина Катаева времен мовизма и подумала, что, наверное, пишу как его ученица…

В центре озера еще отражалось небо, и оттого середина его казалась бледно лазоревой – солнце уже ушло низко, почти за горизонт, и

тени неспешно спускались от Царских аллей по сочным травам и неярким цветам к озеру, в низину.

Но ни они, ни сетка не мешали нам рассматривать это загадочное существо, которое сразу получило от нас имя «Лягуш», и предки которого наверняка мирно сосуществовали с предками динозавров (ах, есть ли жизнь на Марсе? – почему во все времена кровавых перемен их, затевавших эти перемены, так волновал вопрос о Марсе?)

Меня он никогда не беспокоил.

Мы остановились, глядя на шествующую поперек аллеи хранительницу древнейшего из самых древних посланий нам, и пытались его прочесть.

Но читаешь сразу. Или нет.

Мне показалось, что послание это о прошлом, а не о будущем. А прошлое мне было неинтересно. Хотя, будь я чуть-чуть постарше, я бы никогда так не подумала.

Мы молча стояли на одной из аллей Дворцового парка, заросшего великими гатчинскими дубами, и смотрели на пришельца, ворвавшегося в наш быт и мир, – большого, неспешного, несуетного, такого родного земле и всему, из чего состояло ее бытование.

Лягуш исчез в полумраке сумеречных аллей, ушел своим путем, своей дорогой куда-то, куда нам ходить было не дано.

Мы пошли дальше по тропинке, бывшей когда-то ухоженной аллеей, и за поворотом увидели большую круглую поляну.

Она казалась совершенно пустой, словно выбрал ее последний предзакатный, еще золотой луч солнца, чтобы отдохнуть.

Мы замерли в тени обрывавшейся здесь дубовой аллеи.

Что-то мешало шагнуть в этот солнечный круг, словно граница тени и света была физически непреодолимой.

И в этот момент мы услышали тихий серебряный звон, словно тронул кто-то какую-то невидимую сказочную струну, и она отозвалась на это прикосновение.

И, так и не поняв, что это за звон и отчего он тут, в старых заброшенных Царских аллеях, хозяев которых давно не было нигде, мы вдруг увидели на противоположной стороне внезапной солнечной поляны высокую, одетую во все черное женщину, тоненькую и гибкую.

Платье ее едва касалось трав, и она медленно скользила по ним, а потом вдруг наклонялась к земле, и осенние травы обвивали ее.

А когда она распрямилась, мы снова услышали тот странный звон, словно где-то непода-

леку от нас кто-то пробовал играть на серебряных колокольчиках.

Звон стихал, женщина в черном плыла по травам, и снова наклонялась, собирая что-то, одной ей видимое. И, когда она распрямлялась, опять раздавался тихий протяжный звон.

Такой тихий и чистый, какой только и мог возникнуть в засыпающих, почти пустых, Царских аллеях.

В какой-то миг мы увидели в руке женщины маленький светлый бидончик. И сказка померкла.

Женщина собирала в него спелые желуди, и это они издавали, падая в бидончик, странный, такой неуместный в тихих вечерних аллеях Царского Дворца перезвон.

Я легко представила себе, как она придет домой, перемелет их на старой ручной мельнице, вращая по кругу ручку с черным шариком на конце, и сварит свой желудевый кофе.

Никто, захлестнутая юношеским легкомысленным высокомерием, подумала я, никто в мире давно уже не варит желудевый кофе!

Но что-то приковало нас к этой поляне, к последнему солнечному лучу, по краю которого не спеша двигалась женщина в черных одеждах, каких в наши дни давно уже никто не носит.

Словно прорвалась завеса времен, и мы случайно увидели другое время, другой век…

А женщина, не замечая нас, все так же медленно скользила по травам. И осень золотила ее странные одежды.

Зачарованные, стояли мы на грани почти ночной тени и луча закатного солнца и слушали серебристый волшебный звон, не в силах двинуться с места…

Не знаю, сколько это длилось.

Есть возраст, в котором время для человека ничего не значит.

И шли, текли мимо нас секунды, часы, столетия…

И желудевая ночь неспешно опускалась на Царские аллеи.

Гатчина – Санкт-Петербург

РУССКАЯ МАДОННА

Пила Мария редко. Да, может быть, и не пила вовсе, но так уж считалось, что непьющих на Руси не осталось, как только грянула война и забрала из русских домов всех мужчин. И стали вместо них приходить похоронки.

А на деле… Когда и пить-гулять? Некогда. Время пришло не для плясок. Работали по две смены, а чаще вообще часов не считали, особенно молодые, если не успели до войны деток родить. А тут еще и начальник просит:

– Поработай еще часок-два, Мария! Видишь, рук не хватает, а твой-то на фронте, и детей у вас пока нет, слава Богу. Дома никто не ждет.

На это «Слава Богу» полыхнула Мария серыми очами, да опустила их вниз, прикрыла жар черными ресницами, чтобы ненароком-то не ожечь.

И лицо ее стало белее локона, что из-под сестринской косынки чуть выбился…

Через полгода рожать ей, милый доктор. Как раз на Рождество – по-новому-то…

В те времена абортами себя не губили, и росли в семьях детки, сколько Бог даст.

Большие были русские семьи. 6-7 детишек в доме – дело обычное. Как грибочки, один за другим подрастали.

Но опустело все без них, подросших.

Притихла Сибирь.

Ни баянов, ни гармошек, ни вечерних посиделок.

Ушли мужчины.

Журавлиным клином потянулись за ними на фронт и женщины – сестрички, врачи, летчицы, связистки.

И никому объяснять ничего не надо было – народ и так все знал: снова немцы на русь напали.

– Вон, и мать твоя Пелагея все еще здесь, в госпитале, со вчерашнего дня, – говорил тем временем старый Главврач. – А ведь ей уже за

40. Ты молодая, выдержишь, поработай. Раненых-то сколько!

И вздернул подбородок и, сказав едва слышное: «Вот и спасибо!», растворится, не дожидаясь ответа, в глубине госпиталя среди таких же, как он, в белых халатах.

Доченька родилась как раз к праздничку. Омыли, окрестили, стали отца ждать.

А письма приходили спокойные, ясные: бьем, мол, фрица. Вы там потерпите немного, а мы уж не подведем...

И так было до самого 1944-го.

А потом пришел клочок бумаги: дескать муж ваш пропал без вести в боях за Советскую Прибалтику.

И потемнело все.

И не стало белокурой Марии.

Словно смыло горе всю красоту с лица, стерло, сожгло огнем...

И голоса ее нигде слышно не стало. А какая певунья была!

Ничего страшнее в те времена не было этих слов, написанных в похоронке: «ст. лейтенант... пропал без вести».

Ни-че-го!

Вскоре внезапно умерла мама, обучавшая ее музыке, языкам да танцам – всему тому, что

новой России, которую называли теперь «Рэсэфэсээр», было совершенно не нужно.

Не нужно, как и люди не рабоче-крестьянского происхождения, к которым относили и Марию, хоть родилась она уже в 1919-м.

И осталась она одна с маленькой дочкой в малознакомом городе по названию Новосибирск, где застала их судьба.

И далек, как град-Китеж, был от нее мамин Петроград, о котором столько рассказывала она ей зачем-то, называя проспекты и улицы, и все просила помнить материнскую фамилию и записать ее в крестильной грамотке дочери:

– Мало ли что? Чтобы фамилия наша не затерялась… Вырастет, замуж выйдет и потеряется.

– Мама, – просила Мария. – Я все сделаю, как ты просишь, только наша-то не затеряется: не девчонка, а юнкер с флота!

– Я не об этом, – тихо говорила мать.

– Да понимаю я…

Та говорить начала рано и любила спрашивать холодно и безжалостно:

– Где мой папа?

И ничего сказать ей на это Мария не могла.

А тут случай подвернулся – где-то в горах Якутии решили открыть закрытый было золотой прииск, и друзья уговорили поехать с ними: там все по-другому. Там, мол, людей за судьбу не попрекают.

– Почему? – спросила Мария.

– А ссылать дальше некуда, поэтому.

Извинились за глупую шутку, да что там – решилась Мария уже ехать.

И полетели годы. Сначала преподавать Марии не разрешалось, а после 1953-го года многое изменилось.

И стала работать Мария в школе на полных правах, и тысячи ребятишек обучила русской грамоте да письму, да всему, что сама умела - музыке, танцам, пению...

И мало было в школе таких учителей, как она.

Детей из дальних улусов привозили на зиму в интернат, просили директора школы: к Марии определи.

Строгая была, а пол-Якутии учителей да летчиков, врачей да шахтеров приезжали к ней, проведывать Первую Учительницу, а заодно и помочь, чем могли.

Бывало, откроет Мария утром дверь, а у порога – бутыли с молоком, да солидный кус

вяленого мяса. То икорки оставят, то осетрины соленой. А однажды шубку подарили из оленьего меха.

Расшитую таким узорочьем! Глаз не оторвать.

Кто оставлял, кто дарил? Люди.

А дочь росла быстро. Вот и школа уже позади, и в институт пора ехать. Про Петроград-Ленинград слышать не хотела, Иркутск выбрала. Да и то, к матери поближе.

И рожать – к маме.

И снова девчоночка родилась. Смотрит Мария – глазам не верит: чистая прабабка. Словно с портрета сошла…

Только после родов доченька Марии с месяц всего и прожила.

В день выписки из роддома началась у нее температура под 40, и ничего поделать не смогли. Через три недели не стало Золотинушки.

Вот, тогда пришли к Марии люди. Коньяк принесли.

– Выпей рюмочку, – говорят. – Положено так. И поплачь. Поплакать надо.

Поблагодарила Мария, к столу пригласила.

– Есть у меня, кому поплакать, – тихо так сказала.

И к кроватке внучки отошла.

***

Смотрю я на все это, гостья дальняя, и думаю: вот как я подгадала-то! Хуже не бывает...

Должна была я ей, Ивановой Марии Варфоломеевне, в народе – Васильевне, сказать, что нашелся ее старший лейтенант, без вести пропавший.

В братской могиле похоронен. Вот, документы да фото привезла – ей передать. А разыскала я их в сибирском городке Салехарде, где создали люди Книгу Памяти.

Только опять все не очень ладно!

Лежит он в чужом теперь нам городе Таллине, и никто не скажет, каково ему там, на порубежье.

***

– Марь-Васильевна, иди к столу, вот, для тебя рюмочка хрустальная с наперсток, с какими мы шубы да унты шьем, – говорит бабушка Октябрина, которая дольше всех Марию знает, еще с Аллах-Юня, с золотых приисков Аллаха.

– Не одни Вы тут. Саха-Якутия с вами. Вы это всегда помните, хорошо? Вы стольких детей наших в люди вывели! Всем им как Мать. Вы в каждой нашей семье, в которой дети у Вас учились, – своя. Так что, большая семья у Вас, Мария Васильевна!

Говорит бабушка Октябрина негромко, отчетливо. Сама всю жизнь с Марией рядом работала, сама – ее ученица, сама – учительница.

Стол поминальный ждет. Накрыт, как положено. Кто-то из молодых последнее блюдо внес в дом – две миски со строганиной, дымящиеся от мороза нечеловеческого.

– Я недавно в Италии была с делегацией, Вы знаете, – не спеша говорит Октябрина. – Там Мадонну нам показывали. На Вас похожа, Марь-Васильевна.

Обернулась Мария, а глаза у самой огромные, словно сквозь толщу воды, как град-Китеж, на нас взглянули…

И страшно мне стало.

И хотелось броситься на колени перед такой судьбой.

Сангар (Саха-Якутия) –
Санкт-Петербург

БЕЛОЕ ПЕРЫШКО НА ЧЕРНОМ КРЫЛЕ

Я, собака Маруся и Ворон шествуем ровной шеренгой вдоль спящей еще Фонтанки.

Только птице, чтобы разговаривать с нами, приходится идти не по гранитной мостовой, а по перилам набережной.

Иначе мы не услышим, о чем он говорит.

Я и не знала, что он умеет так тихо разговаривать.

А он все говорит, почти шепотом, – о чем-то наболевшем рассказывает.

Еще вчера в 5 утра Фонтанка была тиха и прозрачна. Серый песок на дне – почему серый?! – прежде, до дикого разгула водных туристов, песок был ярок и желт, как у бережка Невы за лопухами у Смольного, где бил блокадный родничок, пока не пришли новые власти и закатали все живое в бетон.

Серый песок на дне Фонтанки был мертв и пуст – ни малька, ни рыбешки, ни водорослей вдоль гранитной обшивки.

Из-за домов Правобережья вставало солнце. Синее небо с белыми облаками казалось нарисованным, и теплого дня не обещало. А сегодня с утра – облака-тучи, и старый ворон кричал нам с конька крыши Аничкова Дворца:

– Привет-привет, где пропадали?

– Привет, Карлуша! – радостно кричу ему. – Болели мы. Долго.

Ворон планирует вниз, приземляется рядом с нами на узкий парапет, идет рядом и что-то говорит негромко – для человечьего уха.

– Карлуша, где твоя семья? – спрашиваю я. – У тебя ведь была жена, я помню, как ты сватался, и вся твоя стая уговаривала тебя не селиться на нашем роскошном каштане.

А потом злые люди спилили каштан, и ты долго спрашивал, почему я разрешила это сделать. Я не все могу, Карлуша! Злых стало много…

Так, где твои, почему ты один? У тебя ведь два сыночка подрастали. Ты их воспитывал. А вас всех – твоя Ворониха строила. Блондинка. Мы так ее звали. Она почти вся была белая…. Строгая она у тебя. Где все?

Спрашиваю, словно сама с собой говорю. На ответ не рассчитываю. И голову повернуть в его сторону боюсь, чтобы не испугать.

Перила узкие, вода о гранит бьется совсем близко…

А он вдруг что-то отвечает мне полушепотом, и я просто обалдеваю, я совершенно перестаю что-то понимать, оттого, что осознаю, наконец, что Птица именно **рассказывает!**

Вот, думаю, кто-нибудь проснется в такую рань, нечаянно выглянет в окно и увидит нашу троицу. Подумает: померещилось. Чертовщина какая-то…

А никакой чертовщины.

Просто друзья вдоль Фонтанки гуляют…

Птица, Собака и Я.

– Так где все твои, Карлуша? – снова спросила я и пристально посмотрела ему в глаза.

И увидела, как постарел он за эту чертову зиму, когда все мы болели, как сдал…

Он понял, что я увидела это. Смутился – не ждал, что я обернусь и погляжу ему прямо в глаза и пойму, что ему одиноко отчего-то…

Карлуша сделал еще пару шагов, споткнулся, зацепившись за что-то когтем, но не упал – привычно сбалансировал крыльями.

И на левом антрацитово-черном его крыле я увидела вдруг белое-белое перышко…

Он взглянул на меня, взлетел на молодую липу, резко крикнул и снова опустился на перила Фонтанки и пошел рядом со мной.

А над крышами домов на противоположном берегу реки стали подниматься в небо большие черно-серые птицы. И я поняла, что это его стая заволновалась, услышав крик, и что они все время наблюдали за нами.

И дошло до меня, почему он так часто поглядывает на пакет в моих в руках.

– Так вы голодны?! Вы хотите есть? Здесь ничего нет, Карлуша. Ты приходи в наш двор. Мы сейчас идем туда, домой. И я дам тебе хлеба.

Он молча шел рядом со мной, и белое перышко, белое-белое в его темном оперенье было, как неожиданная ранняя седина…

– Карлуша, мы домой идем. Трудное время, правда? Но ничего. Ты прилетай.

Когда мы с Марусей прошли арку и вошли во двор, то сразу увидели его.

Он уже ждал нас в центре двора на серых, как песок Фонтанки, плитах.

И оперенье его было влажным от петербуржского утреннего тумана, и поэтому показался он, наш нежный и добрый Карлуша, вдруг совсем маленьким и совсем беззащитным.

Работа – Sergej Kurkov-Tarkovskij

Об авторе.

Ольга Ланская (Талалаева-Ланская Ольга Юрьевна) – чл. Российского Союза Писателей, СЖ, Ассоциации Выпускников СПБГУ (ЛГУ), отмечена Знаком ˝Дети войны˝, автор сборников прозы и стихов, тетралогии ˝На осколках Империи˝, публикуется в ˝Литературной Газете˝, сборниках прозы и поэзии, выпускаемых при участии Российского Союза писателей.

Отмечена дипломом и наградой победителя в литературном конкурсе ˝Георгиевская Лента˝, посвященном 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной Войны, множеством дипломов за литературное творчество.

Образование высшее. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

СОДЕРЖАНИЕ

Годовщина вчерашнего лета	**5**
Подмена	**8**
Ураган	**10**
Реюнион и стволовые клетки	**12**
Кресты колдовские	**18**
Святая вода	**22**
Петербуржские наваждения	**28**
Большое Вознесение	**32**
Положи камешком, да подыми перышком	**36**
Святой Афон и Гатчина	**37**
Дом, в котором всегда ждут	**63**
Крест в небе	**68**
Шишигины косички	**73**
Долги наши тяжкие	**88**
Пришли и убили	**92**
Бесы	**94**
Одуванчики	**97**
Скит (*Брату моему Дж. Д. Сэлинджеру*)	**100**
Ночные прогулки	**106**
Девятый день	**113**
Жребий	**115**
Кануны	**116**
Кунсткамера и рябины	**117**
Утро	**120**
И пряла сестрица пряжу…	**121**
«Сонет о Городе»	**122**
Хандра	**130**

Жемчужинки 133
А ночью шел дождь… 135
Когда-то, у нас на Фонтанке, 55 138
Сестры 148
Боги не пишут книг 152
Шар 157
Золотые яблоки 160
Притча 162
Коготки 163
Счастье 164
«Кружится, кружится старый вальсок…» 168
Белая книга 174
Кофейный змий 176
Плохой день 181
Царские аллеи 185
Русская Мадонна 191
Белое перышко 199
Об авторе 203
СОДЕРЖАНИЕ 204

Литературно-художественное издание

˝ЦАРСКИЕ АЛЛЕИ˝
Ольга ЛАНСКАЯ
Проза.

Редактор С.М.ТАЛАЛАЕВ
Корректор Е.С РЕШКО
Оригинал-макет – И.И. ТОКАРЕВА

ISBN 978-5-00105-171-8

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии
"Переплетный Центр", тел. (812) 622-01-23
190020, Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 23А
Формат А5, осн. гарнитура Caslon. Тираж – по требованию.